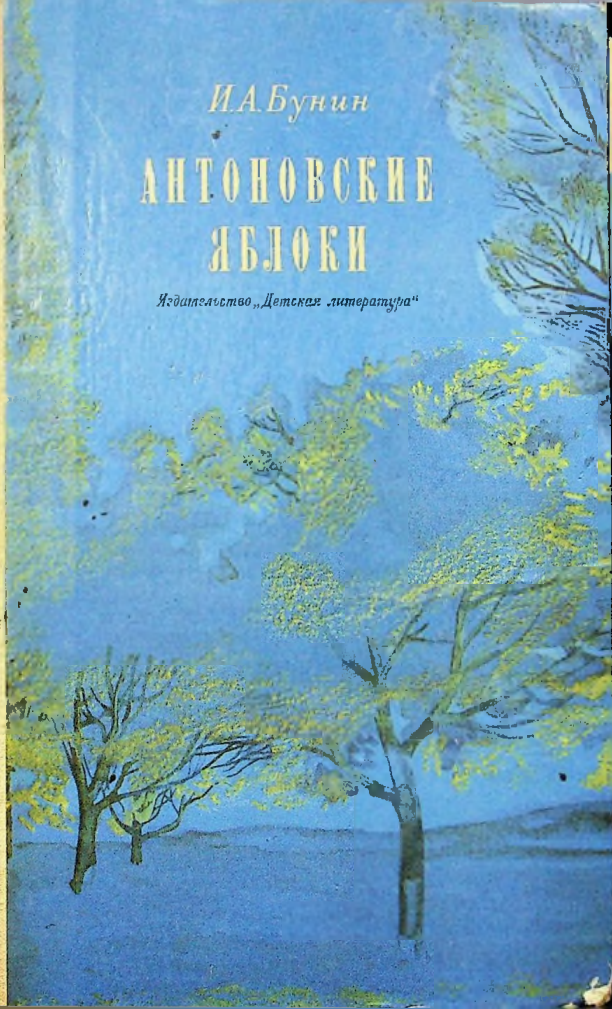


И.А. Бунин

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Издательство „Детская литература“





Иван Алексеевич
БУНИН

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Р1
Б-91

И. А. Бунин

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА НГПИ

Инв. № 218986

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1975

Р 1
Б 91

Текст печатается по изданию:
И. А. Бунина, Избранное, «Художественная литература», М., 1970 г.

Составление и предисловие
В. И. КУЛЕШОВА

Рисунки Л. БИРЮКОВА

Бунин И. А.

Б 91 Антоновские яблоки. Повести и рассказы. Сост. и предисл. В. И. Кулешова. Рис. Л. Бирюкова. М., «Дет. лит.», 1975.

304 с. с пл. (Школьная б-ка).

Творчество выдающегося русского писателя, замечательного мастера слова, высоко ценное крупнейшим советским писателям, прежде всего А. М. Горьким, представлено в сборнике избранными повестями и рассказами: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи» и др.

Б 70803—536
М101(03)75 144—75

Р 1

© Предисловие, иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1975 г.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

(1870 — 1953)

Бунин чрезвычайно сложен и противоречив как человек и как художник. Он не похож ни на одного из выдающихся русских писателей, списавших себе известность в период между революциями 1905 и 1917 годов, на который падает расцвет и его творчества.

Его произведения на темы современной ему русской жизни, при всей их непосредственной художественно-высказывающей силе, не так-то легки для обобщенно-теоретического понимания: «Антоновские яблоки», «Золотое дно», «Деревня», «Суходол», «Ночной разговор», «Веселый двор», «Худая трава» и другие. Это относится и к произведениям, отражающим многочисленные поездки писателя по свету, его критические раздумья о судьбах буржуазной цивилизации: «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чапга».

Известности и репутации Бунина на родине сильно повредила его эмиграция и долгая, до самой кончины, жизнь на чужбине, во Франции. Отъезд из Одессы в 1920 году был его глубокой ошибкой. Бунин не принял Октябрьской революции 1917 года, и позднее не понимал коренных изменений в мире, которые она вызвала. Тут он был слишком дворянским, слишком привязан к старому и видел вокруг себя только анархию и разрушение всего, что было создано трудами многих поколений. За границей в первые годы он даже позволил себе ряд недоброжелательных публицистических выступлений против Советов. Его

творчество определенно переживало кризис. Новых читателей он не приобрел. Не могло существенно исправить положение и присвоение ему в 1933 году Шведской академией междупародной Нобелевской премии. За границей он тосковал по родине, старался писать на русские темы по памяти. Изобразительное мастерство его как художника не потускло. Он создал ряд интересных и значительных произведений: рассказ «Митина любовь», отчасти автобиографическую повесть «Жизнь Арсеньева», сборник рассказов о любви «Темные аллеи». Однако новых проблем он в них не поставил, он лишь мастерски продолжил, в свете углубленного жизненного опыта, прежние темы своего творчества.

Следует воздать должное Бунину, что он в годы Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии, когда советский народ мужественно спас Россию и все человечество от порабощения, чувствовал себя патриотом, помогал силам французского Сопротивления и не запятнал себя, как некоторые другие эмигранты (Мережковский, З. Гиппиус), сотрудничеством с немцами; наоборот, Бунин отмежевался от них. Писатель радовался успехам Советской Армии и после войны помышлял вернуться на родину. Но, к сожалению, этого не сделал — сильны оказались прежние предрассудки, какая-то оставшаяся внутренняя двойственность, дурное влияние эмигрантского окружения. А вместе с тем его глубоко правдивые, высокохудожественные произведения, проникнутые любовью к русским людям и русской природе, все больше и больше становились известными после войны в нашей стране. И в настоящее время Бунин предстает в нашем сознании пусть по-прежнему только как художник дореволюционной России, по все же как крупнейший русский реалист, несомненно классический писатель, которого любят миллионы читателей.

Бунин при жизни производил на окружающих впечатление легкого, строптивого человека, по убеждениям какого-то старорежимного, закоспевшего в своем «дворянстве», обычно высказывающего свои мнения в парадоксальной, резкой и непреклон-

пой форме. Что-то на этих черт угадывается на некоторых его портретах: несколько франтовато одетый, холодно-сдержанный, с жилистой шеей и гордыми поворотами головы, он всегда как бы готовится к спорам и властным взглядом требует согласия с собой.

Нежно любимого Чехова, этого предельно лаконичного стилиста, он упрекал в том, что тот пишет слишком «жидко», а его пьесы считал просто «малоудачными»; всемирно известного гения русского романа, апалитика психологических тайн и загадок человеческой души Достоевского он до конца жизни считал «плохим» писателем. Новейших поэтов, искавших путей к революции и воспевавших ее, Брюсова и Блока, безоглядно причислял к «декадентам».

Чтил всегда только одного Льва Толстого, о котором написал за границей очерк «Освобождение Толстого» с очень сложным и весьма спорным толкованием духовных исканий писателя, читал с годами все больше и больше Лермонтова, особенно его «Тамань». В эгоцентрическом сознании Бунина, кажется, ни для кого, кроме него самого, не оставалось места. Конечно, такая несовместимость с другими была не простой причудой натуры, а своеобразной формой осознания писателем своего неповторимого творческого «я», а иногда и проявлением известной исторической и классово-дворянской ограниченности. Не постесняемся сказать об этом прямо.

Но часто получалось так: Бунин с раздражением поругивали не только М. Горький, действительно видевший недостатки писателя, но и тогдашние либерально-буржуазные критики, почитавшие себя столпами прогресса: Бунин им казался «отсталым», не умеющим шагать в ногу со временем. Отчасти и в самом деле какими-то архаическими, опоздавшими родиться выглядели главные мотивы его произведений: о разорении русского помещика дворянства, обнищании деревни, забитости, темпоте и жестокости мужиков. Его творчество вселяло чувство безрадостности, бесперспективности русской жизни. Бунин никаких выходов не подсказывал и сам их, видимо, не знал. А его рассказы-притчи

о пострадавших пародных праведниках («Иоанн Рыдалец», «Аглая») еще больше вселяли отчаяние. Даже с юмором написанные рассказы «Мирская слава», «Божье древо» не могли разрядить тоски, ибо со всей очевидностью становилось ясно, как примитивно стремятся утешить себя народ, какими шарлатанами бывают его знахари-утешители.

Все в творчестве Бунина, однако, было гораздо сложнее, чем казалось многим на первый взгляд.

Входил в литературу Бунин медленно. Хотя рассказ «На край света» об обездоленных крестьянах-переселенцах хвалил «сам» Скабичевский, популярный народнический критик. Долгое время Бунин известен был только как стихотворец. Бунин-прозаик по-настоящему заметили с «Антоповских яблок», с которых начинается его классическая проза. Первоначально его стихотворения напоминали Никитина, Надсона с модной тогда сострадательной ноткой, а потом «чистых» лириков Фета, Полонского, А. Майкова, а сам Бунин был не прочь и тогда изображать: он поэт только для избранных. В эпоху символистов и позднее футуристов такая позиция казалась уже объективной. Не многие тогда заглянули во внутреннее строение «банального» стиха Бунина и увидели его богатые ритмы и образы, вбивавшие в себя живые впечатления и трепеты современной мысли.

Только самые зоркие современники, Чехов и затем в особенности Горький, усмотрели в Бунине, при всей его противоречивости и уязвимости, настоящего писателя-реалиста, первоклассного стилиста, у которого никому не зазорно поучиться. Всяческое отставание Буниным добротного реализма, его славных традиций тогда, когда от реализма стало модой отказываться, является наивысшей заслугой писателя. Горький указывал, что за Буниным есть своя, никем еще не учтенная правда о русской жизни. Изымите Бунина из русской литературы, и она потускнеет, что-то утратит от своей прославленной честности и высокой художественности. И Куприн говорил, что Бунин «приобщен ко всем идеалам русской литературы».

Весь вопрос только в том, как он к ним приобщен. Самые расхожие формулы, которыми еще старое, до-революционное литературоведение определяло общественные позиции Бунина, которые повторялись до последних дней, гласили, что Бунин — певец осени и грусти, «дворянских гнезд», что он «помещик», испугавшийся революции 1905 года, не сумевший разглядеть борющегося крестьянства. Во всем этом было много правды. Это и придавало Бунипу какой-то старомодный вид и как бы объясняло раздражающий характер его суждений о людях и событиях. Но это была еще не вся правда о писателе.

Самого Бунина возмущали такие односторонние определения характера его творчества, явные «искажения» его мировоззрения. Он был против навязываемого ему пессимизма, мнения о сгущении красок при изображении народа. В одном из газетных интервью он с жаром рассуждал «подозревая» в том, что характер его произведений о мужике вытекает из того, что он сам «барин». Бунин говорил, что он «никогда в жизни не владел землей и не занимался хозяйством» и «никогда не стремился к собственности»: «Я люблю народ и с не меньшим сочувствием отношусь к борьбе за народные права, чем те, которые бросают мне в лицо «барина».

Долгое время и позднее эти формулы как бы под-сказывали видеть в Бунине только «выразителя», «представителя» интересов разоряющегося дворянства. Но Бунин умел вставать выше предрассудков сословия, отражать жизненные процессы в большей широте, чем позволяли узкокастовые интересы.

Требуют некоторых пояснений эти традиционные утверждения о так называемом помещичестве Бунина. Часто цитируются слова Горького, сказанные при первом знакомстве с Буниным в 1899 году на набережной Ялты, в присутствии Чехова: «Вы последний писатель из дворянства, которое дало свету Пушкина, Толстого». Писатель из дворян стал редкостью, вот сошлись три разных по происхождению писателя: из «народа» Горький, «разночинец» Чехов и «дворянин» Бунин. Но все должно было показать будущее творчество, дорожит ли писатель дворянст-

вом. Начинаяющим был и почти одноклассник с ним Горький.

Бунин любил вспоминать, что из их рода вышла известная поэтесса пушкинских времен Анна Бунина, что отец Жуковского, А. И. Бунин, им родня, что Бунины были в родстве с Киреевскими, из рода которых вышли известные славянофилы Иван и Петр Киреевские. Но ничего «династического» при этом Бунина не выстраивал, это была чисто апкетная справка. Принято было созавать эти далекие родственные связи. Самое же главное было в том, что Бунин чувствовал: он принадлежит к «сословию» писателей.

То, что Бунин родился в дворянской семье, имело, конечно, большое значение для его мировоззрения. Дворянские предрассудки у Бунина хорошо видны в уверениях, что в прежние времена склад жизни среднепоместного дворянина имел много общего со складом жизни достаточного мужика («Суходол», «Жизнь Арсеньева»). Много у него есть сцен, воспевающих упоение в труде, когда, например, мужики с цепями на молотье в наблюдающий за ними у дверей ргик помещик-хозяин как бы одноклассно втянуты в ритм тяжелой работы. Тут есть умиление идиллий классового мира. Есть натяжки в тех сценах, где крепостные влюбляются в помещиков и иставляют в своем чувстве. И господа в свою очередь переживают страстные увлечения крепостными красавицами. Конечно, в жизни всякое возможно, но как программа понимания общественных взаимоотношений такая идиллия несостоятельна.

Но в целом позиция Бунина как писателя не сложилась к защите всего «дворянского». В том же «Суходоле» изображаются и дикие проявления крепостничества, и поэтому односторонней идиллии все же не получалось. Помещики без «арапников» не садились за стол — так невежественны и горячи были друг с другом и со слугами. Отца Наталии, молочной сестры помещика, жившей в барском доме на положении родной, сослали в солдаты, а мать-птичица умерла от страха наказания, когда град побил подполковника. Барин, красавец офицер Петр Петрович, искалечил жизнь полюбившей его Наталии.

Полную неспособность барства в сложных современных условиях Бунин изобразил в рассказах «Золотое дно», «Князь во князьях» и других. Он показывал распад дворянских приличий, заводов гостеприимства, галантности в рассказах «Последний день», «Дело корнета Елагина».

Хотя Бунин иногда тщеславился своей «голубой кровью», род их уже разорился, семья обеднела, его детство прошло на хуторе Бутырки под Ельцом, в «подстепье», посреди хлебов. С ранних лет Бунин проникся уважением к труду крестьян и испытал «на редкость заманчивое желание быть мужиком». Он хорошо знал жизнь и заботы народа. Сама его личная жизнь напоминала жизнь трудящегося разnochинца с ее вечными нехватками. Сначала скитания по Руси, потом служба статистиком-секретарем в Полтава, журналистом в Орле. Он пережил увлечение пародничеством, толстовством и даже чуть не «перестрадал», то есть не попал под арест за связь с сектантами. В 1889 году в Харькове под влиянием сосланного туда старшего брата Юлия он оказался в кружке «запятых радикалов» (то есть, конечно, чисто либерально-пароднического толка).

Он познакомился с вождем пародничества критиком Михайловским, затем в 1895 году с Чеховым. Участвовал в литературном кружке Д. Н. Телешова «Среды» в Москве, в издательствах «Знания» и затем «Летопись», которыми руководил сблизившийся к тому времени с социал-демократами и рабочим движением Горький. Во время неоднократных поездок на Капри в 1909—1912 годах Бунин вступает в особенно тесные контакты с Горьким, работавшим тогда над своим «окуровским» циклом. Их беседы плодотворно отразились на некоторых сторонах повести Бунина «Деревня», в социально-общественном смысле лучшего его произведения, в котором поставлены коренные вопросы судеб России, хотя в отличие от Горького он не видел исторически обусловленного, преходящего характера сегодняшнего положения деревни.

Прежние, крайне односторонние определения особенностей творчества Бунина в последнее время ста-

ли успешно пересматриваться советскими учеными. В их трудах делаются попытки правильного объяснения противоречий мировоззрения писателя и источников огромной, вечно живой мощи его реализма и гуманизма.

Следует учитывать важную особенность таланта Бунина: при всей изумительной конкретности своих наблюдений и социально-исторической точности в изображении типов, он стремится запечатлеть обобщенный образ России. С детства всем нам врезается в память что-нибудь такое, что потом на всю жизнь остается образом родины. Так Бунин и передал это всем знакомое чувство в рассказе «Антоповские яблоки». Бунину запомнились радостные лица осенью, когда в деревне всего вдоволь: «Ядрепая антоповка — к веселому году». Есть такая народная примета. А мужик, с гулом ссыпающий в меры и кадушки яблоки, «ест их с сочным треском одно за другим». «— Вали, ешь досыта,— делать печего! На сливанье все мед пьют». Бунин вместе с рассказчиком — героем «Антоповских яблок» — любовно рассматривает старинные фамильные альбомы со стихами, расчерками гусиного пера, книги в коже и на шершавой бумаге. Вот гостинные, в них когда-то кипела жизнь. «Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят... со ступы, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...» Тут у Бунина ничего своекорыстного, «помещичьего» нет. Конечно, не все девушки и женщины были «хорошими» при крепостном праве. Но у Бунина тут речь совсем о другом — о том, что мы, например, чувствуем, рассматривая портреты аристократки Лопухиной или крепостной Парашки Ковалевой. Тут речь об определенной культуре чувства, о красоте жизни в широчайшем смысле, как и в тех случаях, когда мы восхищаемся современниками Пушкина, которых он одарил стихами, или Татьяной в «Евгении Онегине», или Наташей Ростовою в «Войне и мире».

Бунин был певцом великого чувства любви, самой могучей силы, связывающей людей. Таковы в осо-

беспости его рассказы «Грамматика любви», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Светлый понедельник», «Митина любовь» и целый цикл рассказов «Темные аллеи». От каких бы житейских случайностей и передраг это чувство ни зарождалось, к каким бы трагическим финалам ни шло, «нет несчастной любви», это чувство священо, «любовь и тогда великое счастье, когда остается неразделенной» («Натали»). Эти духовные ценности учат любить жизнь, все ялящее, токое. Они цивилизуют чувства людей.

В этом же смысле Бунин упоминал в автобиографиях, что с детства смотрел дома на портреты Пушкина, Лермонтова, Баратынского как на «фамильные». Это, конечно, главным образом потому, что они возбуждали желание прижиться к сопу бессмертных. Не без иронии он говорил, что не всякому дано проникнуть в склад поэзии «дворянина» Пушкина, для этого надо много знать домашних примет и привычек той эпохи. Точно так же, где, например, «кинжнику» «горожанину» Надсону знать деревню, и уж не потому ли в его стихах болотная «осока» растет «над прудом» и даже «склоняется» над ним «ветвями».

Бунин радовал смеяемость эпох, переходы часто-исторического в общечеловеческое. В воображении он переносился в прежние века, хотел уловить связь времен. Эти степные курганы видели ставовица многих кочевий, — сколько они могли бы рассказать теперь заночевавшим у них переселенцам! Эти средиземноморские волны в Каппах сегодня так же бегут под косыми лучами садящегося солнца к берегу, как и при Ганнибале и Цезаре. А Млечный Путь своими «двумя дымами», одним длинным, другим покороче, вечно манит воображение бесчисленного множества поколений людей.

Путешествия играли огромную роль в жизни Бунина. Он посетил многие страны Европы, его тянуло к загадкам древних культур: Греции, Рима, Египта, Сирии, Цейлона. Он прекрасно перевел «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, в которой, как в сказках и мифах, светло и радостно рассказывается о жизни и

преданных североамериканских индейцев до их порабощения колонизаторами. Бунину всерьез хотелось связать воедино впечатления от русской деревни и от религии индусов. Конечно, выходило у него это слишком абстрактно, не по строгой науке, но в самом желании увидеть некоторое единство, связи в истории человечества было много прекрасного.

Бунин — певец жизни, ее светлых и трагических сторон, ее вечных переливов, пытливого познания всех ее тайн. Этим он действительно, в конце концов по-своему, «приобщен» ко всем передовым философским и гуманистическим идеалам русской литературы.

В одной из анкет 1912 года Бунин сделал неожиданный заявление: «Теперь тяготею больше всего к социал-демократии, хотя сторонюсь всякой партийности». Была ли хоть капля правды в этом? Ведь в России того времени социал-демократия — это марксисты. Некоторые исследователи полагают: тут дань дружбе с Горьким. Этого мало. Нет, смысл заявления надо понимать шире: Бунин невысоко ценил различные буржуазные и мелкобуржуазные партии кадетов, эсеров, громко кричавших, что они подлинные представители прогресса, что защищают народные интересы. По-прежнему идеализировали деревню народнические писатели. А бесстрашным наблюдателем подлинных перемен в деревне, параставия в ней алобы и взрыва был Бунин. Из всех русских политических партий в реальном свете эти процессы в стране видела только марксистская партия революционного пролетариата, социал-демократия. В этом смысле Бунин и говорил, что он «тяготеет» к социал-демократии.

Конечно, он оставался «беспартийным» и не охватывал взглядом всей картины. Но как художник помогал увидеть как можно больше подлинной правды о русской жизни.

В изображении деревни Бунин продолжал традицию Николая Успенского, которого высоко оценил Чернышевский за беспощадную правдивость. Теперь правдивость была направлена против народнической и толстовской идеализации крестьянской патриар-

хальности. В духе такой именно суровой правды были написаны Чеховым «Мужики» и «В овраге».

Бупинская «Деревня» потрясла безрадостностью картин народной жизни, постановкой общих вопросов о судьбе России, раздиравшейся изнутри, особенно после революции 1905 года, непримиримыми противоречиями. «Так глубоко, так исторически деревню никто не брал...» — писал Горький самому автору.

В центре повести «Деревня» два брата Красовых: кулак-мирод, накопителъ Тихон и грамотей, доморощенный философ, неприкаянный Кузьма. Их прадеда за провинность помещик Дурново затравил борзыми. Дед и отец после реформы 1861 года стали выбираться па волю, воровали, промышляли. Торгашили и Тихон и Кузьма, по потом пути их разошлись. Тихон преуспевал: открыл кабак, «черную» лавочку и стал владельцем той самой Дурповки, в которой когда-то его предки были крепостными. Грубый, жадный Тихон люто пепавидел и бездельников господ и своих же «братьев» мужиков, «нищобродов». Кузьма подался было к гуртовщикам, побродил по России, начал мудрствовать, писать стихи. Помаявшись, он прибился к Дурповке, паялся к брату в управляющие, хотя в деле не смыслил. Тихон занимался прибытком, а Кузьма — мучительными вопросами: что дальше будет? Тревожные думы начали беспокоить и Тихона: не спалят ли дурповцы его усадьбу, не взбунтуют ли? Кругом только и слышно: там пожгли помещиков, здесь порезали хозяев. Тихон все время колеблется: то вместе с пародом хочет все земли и уголья отобрать у старых господ, то идти вместе с господами против парода, когда в пароде заходит речь о том, чтобы истребить всех мироедов. Кузьма то живет в сонной апатии, то с возбуждением выкрикивает о безпадежности вообще каких-либо перемен в этой нищей и певежествсплой стране. Не только патентованные философы и политики, но и «спизу» думала о своей судьбе и о своей стране вся тогдашняя полуграмотная Россия. Тихон и Кузьма пачипают оба понимать безвыходность положения: война с Японией показывает гни-

лость царской власти, с несправедливостью народ отзывается о посулах думских говорунов — «дать бы этим министрам под жилу». Разваливались прежние связи в семье и общине, но стало ладу в деревенской жизни.

С несправедливостью Тихон говорил о «лохмачах» студентах, которые мутят народ, подбивают на революцию. В этом показе круговорота вещей, перехода имущества и владений от прежних господ к новым богатым и в постановке общих тревожных вопросов о России и заключался «историзм» «Деревни».

Конец повести кажется слишком простым и не вытекающим из действий главных героев: свадьбой Дениски и Молодой. Дениска — бездельник, приживал, блюдет свою выгоду. Молодая — вдова, кухарка, с которой жил Тихон, а потом Дениска на ней женится. Но этот конец имеет обобщающий смысл: торжество обыденщины, пошлости. Все растрепал Дениска, ему уж не до «вопросов».

На грустные мысли наводила вековая народная серость и разорение. Что за край такой, чернозема полтора аршина, да какого, а пяти лет не проходит без голода. А что за дороги — в деревню въехать нельзя, грязь по колено. Тысячу лет лапти носят, ничего лучшего не придумают. Бабы хлеба спечь не умеют: корка отваливается, а внутри кислятина. Несчастный народ! Чего с него спрашивать! Какие тут могут быть улучшения: вся деревня таскает зимой щиты с железной дороги, тем и топится. А бестолковости во всем хоть отбавляй: на свадьбе Дениски во дворе играли сразу на трех гармониях, и все разное.

В такой терпкой правде пуждалось само русское передовое движение. В данном случае пессимизм Бунина не был клеветой на народ, он помогал вывести «нацию рабов» к светлому будущему. Сам далекий от революции, Бунин подводил к мысли, что только ее очистительная буря сметет царский строй, сонную одурь с народа и спасет Россию.

Бунин видел кругом и много хороших русских людей: и безработных в тяжких испытаниях (Анисья

в «Веселом дворе»), п бодрых утешителей («Лирник Родион»), п могучих богатырей, попусту казнящих себя водкой («Захар Воробьев»). Куда ты несешься, Русь? Слова после Гоголя вопрошал Бунин, только неслась она теперь уже не на «птице-тройке», а по чугунным рельсам («Новая дорога»).

Первая мировая война до предела натянула струны в России, в народе начинался ропот: «Отобрать бы землю у господ и у царя» («Последняя весна»). Приходили солдаты на побывку, возвращались раненые, бывшие пленные; все они в один голос говорили о развале фронта, что России пседобровать («Последняя осень»). Бунин был в отчаянии, он явно терялся: «Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не знаем. Миллионы народа гибят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк».

Буржуазная цивилизация явно зашла в тупик, она антипародна, она рассадник аморализма и чело-веконубийства («Петлистые уши»). Она стала бездушным механизмом уничтожения людей в колониях, метрополиях, на войне. Она и внутри опустошила самих властителей мира, героев паживы и эксплуатации («Братья»). В 1915 году Бунин написал одно из своих сильнейших произведений обличительного характера, которое получило тут же всемирный отклик — «Господин из Сан-Франциско». Бунин вывел образ типичного миллионера, который, пресытившись жизнью, спекуляциями и насилием, решил отдохнуть, поехать по свету на пароходе с семьей. Везде и все к его услугам, деньги делают свое. Но жизнь богача превратилась в какой-то маскарад, она лишена духовности, настоящих эмоций и мыслей, — потому и не дано ему имени. Миллионер умирает во время путешествия в Италию посреди золота и блеска, но при полном равнодушии людей, даже лакеев, привыкших ценить только тех, кто дает деньги и только пока они дают деньги. Труп миллионера спрятали в кладовую, и хозяин отеля хлопотал в заботах, чтобы неприятная весть не отбила клиентов, не опустел ресторан, и веселье шло сво-

им чередом. Равнодушие богача обернулось равнодушием к нему самому; бизнес есть бизнес.

Бунин отвергал «плоды» новейшей капиталистической цивилизации не как старовер, а как писатель-гуманист, и в этом он также был «приобщен» к идеалам русской литературы.

Бунин-художник обладал изумительной силой изобразительности. Он считал, что литература должна действовать на эмоции непосредственно, силой художественных образов.

С детства у него развилась природная наблюдательность, он не раз похвалялся, что видел все семь звезд в плеядах, слышал свист сурка за версту, до оныяления обоял ландыш.

Краткости стиля, как он сам говорил, его паучили стихи. Они заставляли искать единственное, точное слово и метр в прозе. Бунин восхищался музыкальностью гоголевской «Страшной мести». И в основе бунинских рассказов лежит стихотворное начало, ритм. Обычно и само писание начиналось с поисков главного «звука».

Хотелось писать «без всякой формы», не оглядываясь на готовые модели сюжетов и жанров. Бунин «убил» сюжетность музыкой. У него главное — это поток впечатлений, чувств, настроений. У него всегда: рассказ-наблюдение, рассказ-настроение; рассказ с выявлением в привычном чего-то незамеченного, делающего его странным, а потому и ошеломляюще новым. Много у него — особенно в эмигрантский период, когда поток впечатлений нескандален, — этюдов, миниатюр, заготовок впрок, кратких излияний чувств, как в «Стихотворениях в прозу» Тургенева.

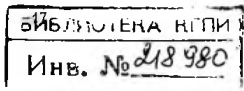
В отличие от Толстого и Достоевского он не возводил частных наблюдений к целостной концепции видения мира, отдельную сцену — к общей картине. Он еще больше, чем Чехов, оставлял над многим подумать самому читателю. Поражая читателя плотской реальностью поводов, которые вызвали чувства, Бунин оставляет широчайший простор для выводов относительно того, что все это значит. Он нередко придавал символический характер своим художественным обобщениям. Такова, например, встреча горды-

ни Нового человека с Дьяволом, сидевшим на утесе Гибралтара, мимо которого плыла, сверкая огнями, громада «Атлантиды» («Господин из Сан-Франциско»). Бунин вводит в рассказы множество познавательного материала без видимой причинно-следственной связи, но мы чувствуем, что сообщаемое в рассказе только ничтожная часть того, что остается в океане окружающей жизни и связано с ее бытием.

Бунин, может быть, больше, чем какой-либо другой русский писатель-реалист, сблизился с приемами импрессионистической живописи, ее колоритными мазками, по которым надо самим достраивать целое. Этими приемами новых возможностей экспрессивной выразительности Бунин во многом обогащал критический реализм.

Для Бунина характерно вечно пытливое пребывание в мире; его воображению всюду мерещатся метафоры, сравнения: из ведра «серебряными рыбами» всплывала вода, среди дыких гор показался «белый холст водопада», гигантские тепы ходящих людей у костра почью в саду словно вырезаны из «черного дерева», они ломаются на стволах и сучьях яблонь и вишен, то вдруг ложатся гигантскими столбами до самой калитки. По цвету, по звуку строятся сравнения: даже типографский набор на мокром листе кажется Бунину покрытым «черной зернью черной блестящей икры», монашки с убитыми лицами напоминают черных галок, а «две галки что-то звонко сказали друг другу» и разлетелись. Сравнения поражают разномасштабностью применений: молния почью то может очертить тучи, и они метнутся в глаза гигантскими Гималаями, то просто сверкнет так, что «хоть деньги считай». Старое определяется через новое, и наоборот: паезженные телегами колес по чернозему уподобляются рельсам железной дороги, а быстро бегущий поезд с непривычки кажется бегущим «рысью».

Чисто деревенские зарисовки, кем уже только по апробированные, у Бунина выглядят своими, свежими на основе неожиданных ассоциаций. Он подметил, что поспевающая рожь имеет «матово-серебристый» цвет; летом за ржками, когда опускается солнце, «зо-



лотой пылью сыплется сквозь колосья его догорающий отблеск»; белая от изморози трава радужно сияет, словно «крупно посыпанная солью», а обожженная морозом трава становится «хрусткой»; у Бунни па коровы в стаде пдут по деревне медленно, «с жепственпой неловкостью».

Чуткий ко всему новому, Бунни щедро ввел в литературу тысячи примет индустриального века, без них уже нет пейзажа, быта, труда и досуга. Бунни любил смотреть на пароходы в гаванях, как па посланцев разных земель. В тихих российских полях загудели телеграфные столбы, некогда вечевой, потом прославившийся «малиновым» звоном колокол теперь скромно бьет отправление поезда; появились обер-кондукторы и другие неслыханные звания. Действие переносилось па перроны, палубы, в номера гостиниц, на дачи. Герои играют в крокет, катаются па велосипедах. Бунни видит жесты, повороты фигур и вещей: в вагоне па вешалке «покачиваются пальто» у двери; по обтаявшим рельсам па станции ходит, «поклеывая», курица.

Он умел в рассказах и очерках на русские темы тонко подмечать неповторимое, и это было в его натуре, по тем же законам: «Я сам русский, а во мне есть и то и это... А ведь и это я! И это во мне есть!» Как умел он передавать северно-русскую иконописную «длинность» фигуры и рук Аглаи в желтом платке, и сосны, и песок, так и в бессарабском быто у него «все правильно»: и непавпсть гоца (гайдука, повстанца-партизана) к порабитителям-туркам, и твердость в вере, и посадка на копе, и причитания матери гоца, и раздолье Днестра и Реута («Песня о гоце»). Так же точно улавливает он тайные мысли цейлонского рикши, бегущего с чопорным седоком-англичаппном, его надежды заработать несколько рупий, и видит, как лоснится кокосовым маслом его спина и как сует он в рот бетель для поддержания сил. В двойном, тройном преломлении отображает он фантазмагории человеческой жпзнп, их топ и лад, как если бы их попыталась попить переходившая от одного хозяппа к другому собака («Спы Чалга»). Бунни, как немногие другие русские реалисты, умел

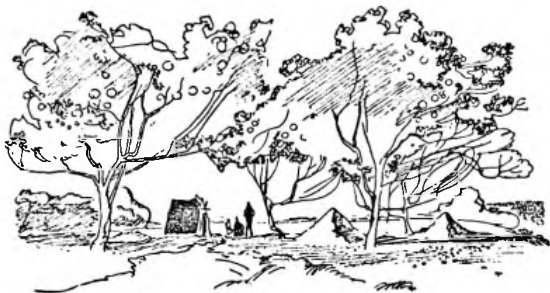
смело выходить в общечеловеческие темы, одновременно быть русским и всемирным писателем.

Суховатый и несговорчивый Бунин болезненно тянулся в эмиграции к родному, русскому. Возвращение Куприна в СССР в 1937 году его взволновало. В июне 1941 года, после четверти века молчания, он не выдержал и написал старому другу «Митричу» Телешову с полуиронией: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой». Тогда же Алексей Толстой ходатайствовал перед Советским правительством о том, чтобы оно рассмотрело вопрос о возможности возвращения Бунина. Но фашистское нападение на СССР и война отодвинули решение этого вопроса. После победы Константин Симонов беседовал с Буниным в Париже о возвращении, а про себя с грустью замечал: старому писателю Бунину было бы нелегко перебороть себя во многом, и ему было бы в этом смысле у нас «очень трудно». Бунин внимательно следил за советской литературой, читал Константина Федин, послал ему одну из своих книг. Он хвалил роман Алексея Толстого «Петр Первый». Его радовал рассказ Константина Паустовского «Корчма на Брагичке» (глава из автобиографической повести «Далекие годы»). Он писал в Москву о своих впечатлениях. Радовался успехи Валентина Катаева, автора «Белеет парус одинокий», с которым был знаком еще по Одессе перед эмиграцией. О своих встречах с Буниным и о том, как тот учил его писать, Катаев рассказал в блестящем очерке «Трава забвенья». Но особенно проникновенным был отзыв Бунина о «Василии Теркине» Александра Твардовского. В письме к Телешову он просил передать автору свое восхищение: «...это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удача, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный, народный, солдатский язык».

Великий наблюдатель жизни, стилист, Бунин оказал влияние на творчество советских писателей: В. Лихопосова, В. Белова, Е. Дороша, Ф. Абрамова и многих других. И с их стороны рождалось чувство глубокой благодарности и признательности. Однако приехать и встретиться с писателями Советской России он не захотел и не смог.

Бунин умер восьмидесяти трех лет, в большой пещере, в скромной квартирке в Париже, на улице Жака Оффенбаха. Сорок семь лет его подругой и женой была Вера Николаевна Муромцева-Бунина, делившая с ним все невзгоды эмиграции и закрывшая ему глаза на одре смерти. Она пережила его на семь лет, оставив ценные воспоминания о писателе. Бунин завещал передать свой архив в Россию. Его могила с белым крестом находится на кладбище Сеп-Жевьев де Буа. Она так же нам дорога, как и могилы многих других классиков и вечно будет напоминать о сложном писателе Бунине, о заблуждениях его как человека, покинувшего когда-то свою страну, и о могучем, страстном, всепокоряющем зове родины, соединившем его с пародом.

В. И. Кулешов



АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

I

...Вспоминается мне радшая погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто парочко выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядрепая»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тарханы, мясники-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой

дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за другим, по уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать печего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сплыв по пахвет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позелепавший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие пстрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеши с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями помпунтно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафапах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусалошках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, заплата длинная, а пошева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь такие...

А мальчешки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоку. Покупает, конечно, один, ибо и покудки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из ми-

лости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тропет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росы то. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякнцы, бодро идешь домой к ужину мимо садового шалаша. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по стелу-дней заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вверх еловых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырванные из черного дерева сплуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко парисуются две ноги — два черных столба... И вдруг все это скользнет с яблонь — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: гроыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стпхать, глoenixть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Всклнешь кверху тяжелую, как лом, одноствольку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко зампрая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потрашайте, потрашайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю па валу отрясли...

А черное небо чертят огнистым полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под погами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная автоповка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если автоповка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный липоватым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утеришь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет вочную лень и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибрац, довожен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокои веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лушь. Только и слышишь, бывало: «Да, — вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Папкрат? Небось тебе лет сто будет?

- Как позволите говорить, батюшка?
- Сколько тебе годов, спрашиваю!
- А не знаю-с, батюшка.
- Да Платона Аполлоныча-то помнишь?
- Как же-с, батюшка, — явственно помню.
- Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста лет.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустных приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева — чуть не прошлого столетия, чуянки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с капи-фасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и савап, — отличный савап, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелии, у Игната, у Дропа — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овны и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полшубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на сарках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо носить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солпцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замаш-

ную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с соевым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крыльшками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на потной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь по двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и липами. Надворных построек — невысоких, по домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерпавшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то петухи старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дюп-Кухота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит

ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлипками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был певелник и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерпшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колошпями. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июля лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: спиле и липовые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с шкрустаниями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоповские, «бель-барыня», боровишка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «кнризов», нет гончих и борзых собак, нет двора и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пусты, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стопшь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смиренным. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранявшаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых заморозков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зны, пригреваясь в сол-

печном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубят рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутовско-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, печего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в черное поле, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим лаем волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья —

и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью изпод копыт лошади. Выскочишь из леса, увидишь на зеленых пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее нападешь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленым, взметам и жвильям, пока, наконец, не переваляешься в другой остров и не скроешься из глаз стая вместе со своим бешеным лаем в стопом. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадись вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полуоткрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холодеет и темнеет... Пора на почечку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вышесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевах, беспорядочно пьют и едят, шумно передавал друг другу свои впечатления над убитым мате-

рым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образишкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печь, и как дрова трещат и стреляют. Вперед — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного...» И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад издательством какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить плап света на пространном месте своего селения»... Потом па-

ткнешься па «сатирические п философские сочинения господина Вольтера» п долго упиваешься милым п манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомпадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альмапахам, к сантиментально-напыщенным п длинным романам... Кукушка выскакивает из часов п пасмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И попомногу в сердце начинает закрадываться сладкая п страшная тоска...

Вот «Тайпы Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума п веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак п мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастного!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы п дубравы, бледная луна п одиночество, привидения п призраки, «ероты», розы п лилии, «проказы п резвости молодых шалупов», лилейная рука, Людмилы п Алипы... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицейста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее половезы на клавинордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». П старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки п женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко п женственно опускают свои длинные ресницы па печальные п нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из поместичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищества. Но хороша п эта помещенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни

стоят сивые, пасмурные. Утром я сажусь в седло с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер зовит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутьмоте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топчет печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, сивея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потяпувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми степами кабинет, желтые и заскорузлые пикурки липси над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутьмном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, наклонив на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лепнино потягиваясь, с вздохом зевая и улыбаясь, окружают его голычи.

— Отыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшись и почерневшие от мороза

листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят вахонхленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озимы, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Залпной уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь погами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и постоянно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с посылками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в его темноте мелькают красные и желтые платки, ручки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеребривший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых пет, охотиться в полях не с чем; по наступают зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте

зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, пахнет гитара...

На сумерки буе петер загулял,
Широки мои ворота растворял,—

начинает кто-нибудь грудным тепором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900



ДЕРЕВНЯ

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барни Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, спдевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Напаял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мечанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтани и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурповке, занял было там лавочку, но прогорел, заплл, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстип, питки, платки, иголки, крейдели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив песколько лет, братья однажды чуть по-жами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма на-нялся к гуртованику, Тихон сиял постоянный дворнишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахару табаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихова уже кое-где серебри-лась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; ли-цом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гошил он за становыми — в те глухие осеп-ные доры, когда взыскивают подати и идут по деревне тор-ги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с пемой кухаркой, — «ис плохо, ничего не разбершет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, садавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи княжны Шахо-вой. А женившись, взяв приданого, «докопал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, по с великолепной каштановой бо-родой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурповское имение: ведь чуть не вся Дурповка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорнать-ся: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в имение, ястребом следить за каждой пядью земли... Аха-ли и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто на-ставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, по имей в виду: своего я тебе трешки не отдам! Баловать, — нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, поскамн внутри, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудившись? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил, — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоянного двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, — темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здоровя же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было ещелюднее:

— Ильяч! Хутишь ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, понешный год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почему?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Смерть он пошучивал.

— Нет-с, уж я своего добыюсь, — говорил он знакомым. — Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал папать на него: что же это, — одна приспала, другая все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобил; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их пестрого церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка, — так смиренно и ласково-грустно, — теплились тени от цепей ее, было мертвецко-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармониями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубья».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жегу возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цып-лепок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на парах, качала люльку п жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбель-ную песню:

Где мой дитятко лежат?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...

И так измешилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не обробела, — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову конунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне и честный покров всепетой богматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келли ипоческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, — и все-таки послал. Но не помогло и это, копчилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вадрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во

сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела опа, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царнца небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пепе; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармошке! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову напихают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рапу. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу, — особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — поспл щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей внятой торговле. — Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна. — Договорись ты! Загонят тебя, куда ворон костей не тащел!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий ротох не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — п то впасть. Выйдеш на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысна! Выйдеш, глянешь: блистает!

В Петровке в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их севом; в ту, в которой ехал сам хозяин

с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружеские разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь соп голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдаль, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утрепшем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегушках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и спались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгогу на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, уваженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло воющим чадом салыных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный

азарт всем спорам и сделкам; бесконечными веренищами, с гнусавыми папевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихова Ильича было много. Подходили сызые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в воддевках и картузах; подходил красавец гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темно-го морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашевые волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, попгрывая погой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько прошибь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылится, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в посок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тепором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубаше.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный погам, колесам и копытам, засоренный и уваженный выгон уже пустел, — ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно пазло кому-то, все держал и держал на жару и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Черпозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, — да все таких, что смотреть страшно и тошно, — прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маториша. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство, — на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди павоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похоропы кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, — в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. — Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бесплодна жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затихье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов

утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете печального осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизпой гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на доколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господи!» На железном, радужном от непогоды и времени памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлеет! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, — те мншуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустипшие:

тише, листья, не шумите,
мове Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная пвозачичья пролетка, — лихо посятся уездные пвозачики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болот-

ные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдненное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощпе, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвечивали Тихону Ильичу пззкле, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смиреницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадемок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощпе и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищebroды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрал окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; спдя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбшках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жаром. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глипистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо

коров, помпучно отправлявшее свои нужды, и памылывал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то,— сказал Тихон Ильич, везая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-сизеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, памылливой головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подлила морду и отвернулась. Поставившая ей, Тихон Ильич показал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужиди пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка потуги...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тонких, слабых, переполненных васьляками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидел на дуллистой корявой ракете грани с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарнице: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курлился молочно-сизеватым дымком, кисло воляло тарью... И мысль о пожаре молнией пропала Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час сестеть...

С этих Петровск, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и так частенько, не допивая, по до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь ползрует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь сербкой называл категорией, петлей, золотой клеткой. Но шагал он по своей дорожке все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуда! — строгим хозяйствен-

ным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства. — Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидках», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительству сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так ровнить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоял возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции свист, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, шурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну пот-то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот

братья! — и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выпосил па лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «п отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно ватыпуги на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, — и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березобый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лептой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто поделнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он богат и жадец, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то кушил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубаше, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать па галчиные гвозда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?... не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к примеру, и в заведении-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать — не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень перверт и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, по тут первность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растрогать его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радуется? Скажи пожалуйста! И все из-за бабы? Яков, озираясь, скреб потными грудью:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В спохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там пажалилась мужу, там пажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудилась... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за сигарка такая?

— Костей мертвых патолкла да вместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, а голова-то стриженная... Ухвачу за полкн — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решился:

— Ну, а как у вас там? Все бупту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бупту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погаддели, к примеру...

— Знаю, о чем гадали-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вы-

шла, мол, распоряженне... вышла будто распоряженне — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетью!

Но «распоряжение»-так вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостным глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самоу черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запрячь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гвал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеп, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугулки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирные пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым дощником: на его парах пасся мужицкий табул! Началось, значить! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо колючих и людской избы и вскошил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, зампрая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, допоспавшиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой насту-

павший шорник — злой, поджарый, с провалившимся животом, пострепанный, в сапогах и лиловой ситцевой рубашке. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист попеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мешанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько

усадеб, да и смолкли. Шорпик вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почти-точно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощущивал в кармане бульдог, падоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу исполнилось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяповки, пошел пазад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту: женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, — стройная, с очень белой, нежной кожей, с толким румянцем, с вечно опущенными ресницами, — стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под вепца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые попсы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, — за ней так и осталась эта кличка, — была и в этом паряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бупта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же напаял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без



солдата теперь не обойдешься». Под Ильин десь Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые кры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, покрасневшее лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, — и попер в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не сопротивлялась...

Стало после этого мучительно видеть жепу, Родьку, зная, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и ежедневно. А вскоре стало и жутко. Непоспешными путн, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко стриженной черпой головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он пахвтался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз паткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говорите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или

землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и оьяпила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделиться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его замепить?

Выручил случай. Неожиданно Тихоп Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурповкой.

Узпал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, — стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихоп Ильич, услыхавши это. — Оп Кузьма, а ничего! И что же, позволте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью, — ответил знакомый, твердо перивший, впрочем, — как и мпогне в городе, — что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихоп Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помприться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнувший коношней, половых в белых рубашках и белых штапах. В клетке на все лады, как пеживая, как заведенная, заливалась капарейка. Тихоп Ильич, с первым и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, пасупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначалу изложу я тебе, Тихоп Ильич, — начал он, как только Тихоп Ильич палил ему чаю, — изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слогп, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли, — апархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать ппкому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, по, прямо говорю, — драть шкур не буду.

— Да и времена не те, — вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще, — драть-то. Да пет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане не считаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. — Да, пожалуй, и не паше это дело.

— Ну, я так не думаю, — возразил Кузьма. — Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.

— Да ипой. Не хочу сказать, что я лучше тебя, по — нпой. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, по скажу одпо: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы парод!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабапл пальцами по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно, — сказал он. — Дикпй народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольпо-таки пошатался по свету, — ну и что ж? — прямо ппгде не видал скучнее и лешивее типов. А кто и не лешив, — покосился Кузьма па брата, — так и в том толку пет. Рвет, гапдобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого, — сказал Тихон Ильич. — «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма. — Вторую тышу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, парод молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич. — Давай-ка лучше об деду поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана, — усмехнулся Кузьма. — Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не пуждешка, — и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний, — возразил Тихон Ильич, пахмуриваясь. — Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго. — А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свпньей всю жизнь, вздохнул, — и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай пет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», — подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча погтем по столу. — Самое что ни на есть любимое наше, самая погцибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Капарейка стихла. В трактир набирался парод. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладопью, энергично сказал:

— Ну, значит, так, — не стать перетакивать! — и, за-

пустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, папел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он. — Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давящиеся... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и пужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, — важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич, — сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, — а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что почем?

Водворив брата в Дурновку, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно, — она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с пей просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, — противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смиловившись он только в одном — не вышел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяясь от Родьки и переда-

вая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Непаде-
жеп брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!»
И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь
октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь
стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась,—
сменилась бурей, ливнями, а в Дурповке случилось нечто
совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на липици чугупки, а Молодая
без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятнал-
тышный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя
странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весе-
ла, хохотала, пела песни с Долькой Козой, очень глупой
и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила
с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то под-
ружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата,
пахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях,
что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь,
неизвестно, но только копчилось все это большой бедой:
уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя
в шалаше «бечерок», — пригласили Козу и Молодую, всю
ночь играли на двух ливепках, кормили подруг жамками,
пили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли
телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую
наземь, связали ей руки, подпоясали юбки, собрали их в жгут
над головою и стали закручивать веревкой. Коза кипулась
бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда вы-
глянула из них, — после того, как телсга с мещанами ши-
боко покатила воп из сада, — то увидела, что Молодая, по
пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный
рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала
и три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую,
клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет,
чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сров-
нилось и педели, как пошли по Дурповке слухи о позоре
Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «ви-
деть — пикто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого
возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не пре-
кращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода
Родьки и его расправы с жепой. Волнуясь, — опять выбив-
шись из колен! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич,
узнавший историю в саду от своих работников: ведь исто-

рия-то могла копчаться убийством! Но копчлась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее, — убийство или такой копец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубашу смепить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, по Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадей и в темпоте, под дождем, поспея к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку паливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воринской, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагопит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалост-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалост! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жепу бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть вселая тема.

— Имей в виду, — горячо перебил Тихон Ильич, — охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю-Утипую-Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чужке доставил к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну и доставил. А на бочке написал: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят пищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полпа была вопиющими размокшими окурками. Вентилятор, — жестяная труба

в верхнем углу окна, — был открыт, и порою в нем что-то пачипало визжать, кружиться и скучно-скучно цыть — «как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но пакурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неопишаная! Историю считаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева па землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на капате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да кляузницы», деверья — «злые пасмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жапу больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «попы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирога спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудись, вот тебе помон — умойся, вот тебе опучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки паши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, пищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Деписка... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... па днях и говорит мне...

— Стой, — перебил Тихон Ильич, — а как поживает сам Серый?

— Деписка говорит — «с голоду околеваает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно. — И ты мне про цего песен не пой.

— Я и не пою, — сердито ответил Кузьма. — Слушай

лучше про Деписку-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его *весь под тобой...* То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — «То-то смеху было!»

— Да постои ты, Христа ради, — опять перебил Тихон Ильич, — дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говори, — сказал он. — Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся педолга. Ведь ты подумай: топить печем, есть печего, хоронить не па что! А потом опять ее напать. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гүмпамп и дымом, сопно нелп петухи на деревке, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая ппдюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихопу Ильичу не хотелось, по чувствовал он себя измученным п, как всегда, шпбко гнал лошадей, большую гпедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на респницах, как все толще наворачивается липкий чернозем па бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился па работающую ляжку лошади, па ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, накопец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у копыязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихопу Ильичу, по больным,

ласковым голосом, и все пуще склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. — Далдон! Где он, керосин-то, пыиче дешевле продается?

И, не пайдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед пей в шапке п армяке, по босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила опа его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не паша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку соропили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, — ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, — и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «подетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, — кухарка, старик караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Осыка, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На барке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, по рублей в чetyреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаеть письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слова слопает по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антоп Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и поздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами. — Так, прошелся ради геморроя, — сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду, — с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, — имейте в виду: совсем опустели наши пастины! Звация не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубил, — сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубил-то-с! Под гребепочку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Липнет-с! Все липнет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки педаром. «Все липнет, — думал он, — вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — ознями, лашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, — верно, простыл, стоя вечером на шоссе, — чуйка, которой он прикрывся, сползала на пол, и тогда слылось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябля спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, — он показывал три, — поднял чуйку и,

опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что почпой дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними, — приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убежал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, — что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Накопец стукнула дверь, понесло сырым холодом, — караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братуша, — сказал Тихон Ильич слабым со сна голосом. — Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь спящий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старповкой и вздувая серпик.

— Ай язык-то корова отжевала? — слыло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. — Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку дай, — пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он падел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцо-

вых луж, все степы потемнели от дождя. Чуть мороспло, «но, верно, к обеду опять польет», — подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет пшпой... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воляло; кухарка спала на голом копике, закрыв лицо фартуком, выставив костреч и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто патапанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полубубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Слизался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением. — Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные степы, маленькие окошечки, лохавь с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабапам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обесенный павесами, деппиками и закутами. Выше щиколотки был упавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнее бархатной зимней шерстью, бродили под павесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одипоко дремал возле пустых яслей, намазанных тестом. С неприветливого пенастного пеба над квадратом двора моросило и моросило. Кабапы болезненно, настойчиво пыли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая трайда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От трайды слышу.

— Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками наполнил жеробца, засыпал ему свежего овса, — вчерашний он только перерыл, переслюснул, — и, широко шагая, утопая в жиже и павозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал погой грязную тяжелую попопу, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, бреешься! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, — придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-пишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и трясая головой. — Ох, мать царца псбесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, левая, — в комнату для присаживающихся, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живы-

ми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бровями бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была надпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, накрытый вязаной скатертью, на нем венчалась шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, по ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич, — сказал, кивая мокрой мавджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово, — кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика. — Что падо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось палетой белого пара. Отпотели окна и одеография, прибитая под зеркалом, — великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали

эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого перся в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и малепькими пропительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич пстово перекрестился на икопу в углу. Потом спял с самовара заочпченный чайник, палил стакап чаю, крепко пахнущего распароппым веппком.

«Лба не дадут перекрестить,— думал он, страдальчески морщась.— Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нуужпо что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выпасться как следует. Хотелось тепла, покая, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задрезжавшей стеклами п посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастелький стакапчик, на котором было лаписано: «Его же п мопаси прпемлют»...

— Ай не падо? — сказал он вслух.

И налил п выпил, еще палил п еще выпил. И, закусывая толстым креппделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеяппо п подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтапе, на карточки в рамках из раковин и даже на перся в муаровой рясе.

«Не до лериги пам, свицьям!» — подумал он п, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на перся, он чувствовал, что все сомнительпо... даже, кажется, п обычное благоговепие его к этому перся... сомнительно п не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он.— В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабапы не велят! То торгашество не пускало, то постоянный двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабапы. Да что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, п то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-пибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть па трапе, в прохладе, в зелени,— да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пять-

десять стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (по среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным ливом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда спинались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, — Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов — по иконе. Эти спинались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, — когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей пачальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизпой его руки, их кожа, топчайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от пагравшейся печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, — значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился пудный стон голодных кабанов, — и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верпо, кабаны заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом.

И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кипул папирску в полоскательницу, падернул поддевку и поспешил на ва-рок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго пе сводил жадных и тоск-ливых глаз с кабанов, кицувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покой-ный, а этого покойного, может быть, в пример будут ста-вить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует, — насмеш-ливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и пе над чем. Значит, была башка на плечах, есл из ницего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на ка-банов, теснивших друг друга и залезавших в корыто перед-ними цожками, кинула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у пас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов пе прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деvнике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в босеd полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт пе придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил поздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил погн, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиповки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшeнную кашу... Лицо раскраспелось, голова отяжелела.

— Не раздеваясь, — только ставив нога об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придет-ся вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам падо к вечеру задать овсяной соломы, жеребду — тоже... или

пет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспичь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к comodу, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в пос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Ивaпович!

Был Макар Ивaпович когда-то просто Макаркою — так и звали все: «Макарка Страппик», — зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, — и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медяпкой, с крестом на верхнем конце и с копьём на нижнем, за плечами — ранец и солдатская маиерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, поздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких посах, светлые, остро блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и пускавший дым в поздри, говоривший грубо и отрывисто, топом, совершенно исключаящим возражения, он очель поправился Тихону Ильичу, и как раз за этот тол, — за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился проризаниями, — пастолько зловецкими, что его посещения стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заупывно затыпет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли. — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности,

которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определял его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зяря. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля подпоятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! —

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом,—

вопил слепой.

Авось грешники покаются! —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные пощри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал,— в лад со слепым,— крикнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и супул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, по, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнусящиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, выпес Макарке, стоявшему со

слепым возле крыльца, два фута кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

-- А табачку? — пагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку,— отрезал Тихон Ильич.— Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее,— ответил слепой серьезно.— Тут, по крайности, прямая сообщенне.

Смеркалось, гряды сплошных облаков сипели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденищину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние пужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две тринки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И пехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей по редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже попятня не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умел эта бестия, Макарка! А раз умел, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молодецкий! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он

всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро рас-
тут, умирают и умирают люди, так мало знают друг друга
и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь,
если вдумаешься хорошепко! Вот он давеча про себя
сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь
он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем,
например, забыл детство: так, мерещится порой день ка-
кой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь
сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секлп. Плс-
точку со свистулькой подарили — и песказанно обрадова-
ли. Пьяный отец подозвал как-то, — ласково, с грустью
в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожпданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Мпронов, Тихоп
Ильч кормил бы старика из милости и не знал бы, едва
замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его те-
перь: помнить мать? — и он ответит: помню какую-то
глубокую старуху... павоз сушила, печку топила, тайком пи-
ла, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил
он у Маторипа, но и эти десять лет слились в один-два
дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные
листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле
соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной
стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгую-
щего мукой, крупной, халуем, — гуртуют, воркуют, трепе-
щут крыльями, — а онп с братом бычьим хвостом под-
хлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторип был
тогда молод, крепок, спзо-красен, с чисто выбритым подбо-
родком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Те-
перь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей вы-
горевшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки
к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит
в трактире Даева, пьет понемпожку, хмелеет и приговарп-
вает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, распла-
тились — и домой!

А встречая Тихопу Ильча, не узнает его, жалко улы-
бается:

— Нпкак, ты. Тпша?

А сам Тпхон Ильяч не узнал при первой встрече, пыпшей осенью,— брата родного: «Да пеужели это Кузьма, с которым столько лет скпталпсь по полям, деревням п проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А рапенько!

— На то я п русский. У пас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тпхон Ильяч упорно п вопросительно глядел в окошко:

— Да пеужели так п в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за граппцей,— например, купец Рукавишников,— рассказывали... Да п без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских пемцев или жпдов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели,— п пе только по пьяному делу,— все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными,— вот вспомнить-то ребенку п будет что. А у пас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда печально заедет кто, кидаются компаты прибрпать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакапа не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тпхон Ильяч внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тараптас в исправности. За кем бы это? Поблизости ли у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить пе на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки п ведра расставляют,— сквозь потолок как сквозь решета лет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Нпкак, с чемоданом? Ох, п дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тпхон Ильяч супул ноги в калоши п вышел на крыльцо. Выйдя п глубоко дохнув свежим воздухом предзпмних сипеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Ти-

хон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, пазы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спишу, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по кособору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железпоторожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, сплпнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избы...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть малеько помочь делу, — сказал он, направляясь к стапции.

Морозило, душестее тяпуло от вокзала запахом самовара. Чище блестяи там огни, звучно громыхали бубенчики па тройке. Хоть куда троечка! Зато лошааенки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки па полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Впзкала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дворь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся па высокое каменное крыльцо, па котором шумел двухведерный медный самовар, краснел, как огненным зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и пужпо было, — с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял па крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой та-

лией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при пизкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич. — Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич, — ответил он певучим городским тепорком и, как всегда, как будто застенчиво. — Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он. — Что ж, вот паживу в Туле денег, вендерку себе куплю, — сказал он, пазывая венгерку вендеркой. — Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадаи себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак пельзя! — пашемшливо сказал Тихон Ильич. — А в кармапе что?

— Так, кляповипка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармапа книжечки. Тихон Ильич взял и впимательно переглядел их. Песепник «Маруся», «Жена-развратница», «Невиная девушка в цепях пашипия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...»

Тут Тихон Ильич заппулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерпята в России.

Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! верно, подарком тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не именне купил,— ответил Дениска с грустной усмешкой.— А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лудатик какой?

Завизжал блок на двери, показался стапционный сто-рож,— седой отставпой солдат с свистящей и хрипящей одышкой,— и буфетчик, толстый, с заплывшими глазка-ми, с сальными волосами.

— Посторопитесь-ка, господа купцы, позвольте само-варчик взять...

Дениска посторопилс я и опять взялся за ручку чемо-дапа.

— Спер, верно, где-пибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на стапцию.

Дениска промолчал, пагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он.— Тот тоже всегда так-то: паладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лоппи, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич.— Деревня стоеросовая! А еще революцапер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов»,— с усмешечкой по-думал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать, — ответил Дениска спокойно. — Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска. — Приду в вагон, — прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где рассчитывать? Под лавкой-то не считаешься.

Дениска подумал.

— Вопа! — сказал он. — Не все ж под лавкой. Залезу в пужник, — читай хоть до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что, — начал он. — Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Валп-ка назад, на Дурновку, — пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вои... надворные советники лучше живут, — сказал он, разумея дворовых собак. — Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и закончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать сигарку.

— Что ж, — спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. — Я калячиться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то, — подхватил Тихон Ильич. — Только, брат, имей в виду, — жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свиной.

— Не меньше кур и свиной есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это па Молодой, что лп?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смпрная, работающая...

Дениска помолчал, ковыряя потем жестяную шляпку па чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много,— сказал он протяжно.— Не знаю, про какую вы балакасте... Про эту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай пет,— это не твоего, свинья, ума дело,— ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не бреши попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу...— начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки,— решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился,— глупо деньги швырять, да еще и зазпается этот толкач, подкупают, мол,— и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папирсы забыл! Дай-ка сверпуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно.— А жениться я пе отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дыякопом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в повой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич. — Нет-с, еще и не входил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так, — сказал Тихон Ильич. — Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полусубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кпутами в руках — извозчики из Ульяновки, ожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнивший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогой малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойпер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Деппска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмеллся.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Деппски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упрямой, застывшей грязи.



Теперь он пастрооп был мужествепно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять падо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому почь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил па селе мужик, — бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увязксь за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кпнулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугун...

— Чугу-ун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-певидимо... Ну и забогате! мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогате! мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугопогого, — вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугологим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогате... Да... А кобель-то возьми да околеет. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, падо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик, и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак, Жмых? — встрепепулся Тихон Ильич. — Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верпе-сьсь!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околеет, — падо хоро-нить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти па тебя пету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел па повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, — падо кобеля хоронить. Как затопает поп погамц: «Как хоронить? Кобеля па кладбище

хорошить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как уско-чит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хорошить? За то браню — где хорошить? Его в церковной ограде надо хорошить!»

Тихоп Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и залесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Осыка, с сигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек. Трубка. Когда Тихоп Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее из рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихоп Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребята! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные теня, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели страшно и величально. От дыхания шел пар, — точно все курили. И когда Тихоп Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихоп Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, пил чашку чаю, пошел в кармане письмо Деписки и стал разбирать его каракули.

«Деся получил 40 рублей десяг патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихоп Ильич. — Ах, голоштанпый!»

«Пашел Дея на станцию Тула и как раз его обабрали вытащили Все докопек детца пскуда и Взяла его тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, по вечер длинел, делать печего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светпла лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозеп...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозеп!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вповых брюках по безсапох...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кипув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — пу, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о кпяжке и о какой-то благодетивой мопахине Поликарпине, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощущал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее педурно. Он цапнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, — кабапы не пускают, свиньи! А и пусти ли бы, — тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма потащи, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежншь!

Сердце пыло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют. Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной...

Голову туманило, — то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность, — то опять начинало безнадежно пыть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане, — будет тетюшка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учителя! Провождник! Филарет милосливый... Голоштаный черт!

Он допил рябиловку, пакурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пижаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидел два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изю всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черпавшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался паружу и загудел окрест: бело блистая цепью окоп, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, песся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурповки-то! — сказал Тихоп Ильич, пыкая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла к нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, впесла сальный чугунчик со щами, захватив его в черные от сала и сажки ветошки. Тихоп Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя, и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черпой Слободе, где еще до сих пор паче смерти убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплеывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольподумец и чудака, старик гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты затакий!»

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, почью, по Муромским лесам, попал на почлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и «так рано пресекающейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рапо»! Давно

пора черту пузатому! Да и как же это ты узпал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал колыбельным ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему. — Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, — ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-турецкой войне: о том, как —

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять,—

и как эта орда —

В безобразных колпаках
Подкрадалась под царь-пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торговать. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умеет, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Колыдова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятникком погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещенного безнаука природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позелевевшей чуйки и теплого картуза, большеликий, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым

левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рывкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без паук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув сигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под клек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значат это наше «без наук просвещеппе»?

И опять схватил сигарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, — правительство вивовато? Да ведь по холопу и барину, по Сепьке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторопа в мире, такой парод, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговцы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой парод! Велпчайший парод, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признаппый тип этого парода!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряпнуть, всем богам по сапогам пайду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой пегодий-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не впжу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизеи, хрестовые походы, войпы лерпгиозные, секты песметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, пужло было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торговашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счаппием казался даже приезд в го-

род. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Покрытые из чайников поля в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш, — во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, пощипывая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятых пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Понестись изурнали эти годы, — по две недели не спимые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пятки, почевки в чужих избах и сепцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда накопец выскок из этой кабалы. Но опять пужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девятистых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо, — хмуро и зло жаловался один. — Вяпешь, как лопух в поле...

— Да, да, — гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в цгарку. — Скажапо: кажный час учись,

кажпый час мыслп... гляди кругом-то — на все беды и убожества пашп...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цигарку и полез в столпк.

— Вот,— забормотал оп, роясь в пачке каких-то истерпшихся бумаг и вырезок из газет.— Вот тут, друг, куча добра... Я все почптывал, да вырезывал, да записывал... Помру,— годится тебе, матерьял о русской жпзпни дьявольскпй. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну исторпйку...

Но рылся, рылся — и не пашел, стал пскать очки, стал тревожно шарпть по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да пет, пет,— этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумпый. Рубп древо по себе. На эту тему, что давал-то я тебе, про Сухопосова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про парод,— сказал Кузьма.— Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухопоспй не парод, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажпый вечер по улицам прет — от пыли соседи не видать... А ты — «город»!

Сухопоспй... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот глупспй слободской старпк, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе,— в наследстве после жены. Оп побирался, болел, голодал, ютился за полтпппик в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мпению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но оп дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Ныпче таких салонов-то уж нетутп!» Оп не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбпак приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, пачпная обдумывать, как изложить ее, пачпнал жпть всем сложпым бытом слободы, воспоминапнями детства, молодости — и запутывался, топил Сухопосова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребпостью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его

собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой размешивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воропее, потом, когда умерла в родильной горячке жепщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был копторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и жаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежипе, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и упдал красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в песокрушенных сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остеклевевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в занекшихся и почерпевших рапах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма впсзапно пришел в ярость и, под одобрителные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной силой над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытывавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, пиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала ру-

камп, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и па жапдарма, и па этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картинку до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистепький офицер; и Кузьма ласково-пагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой па дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он страшный: обедня копчалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив па грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калек-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя па ее белые степы, па золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рубахе па тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой па дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колепа правую ногу, вялую, неестественно-тощую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солда и выли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания па мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамыши,
какие мы есь несчастные, страдащие!
Ах, не дай господь, мамыши,
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»
В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему

осталось теперь недолго и что впереди — нищета, потеря лица человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем помере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдееча на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдееча и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутком стал! Раз стоял он на базаре возле мясных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Можухиным, вышедшим на порог. Можухин, сонно-пасмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало пекуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, сплывать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да, — думал он, — давно пора!» И правда, пужеп был отдых, нищая, по чистой жизни. Стал он уже стареть. Совсем посерела его борода, поредел, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще хуже стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкинскую Слободу, и, качая головой, морщась от цигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый, — сказал Кузьма. — Поповей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городской на вокзале отпал, — ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходявших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил премьер-министр»... Ну, да пеподолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «архметику». Старик извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкoder, кошкoder, завалился под забор! — топкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. — Там кошек дерут, ему лавку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы копдуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. — Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает

смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых внешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма весело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызущую во рву кость...

«Да, да, — думал он, поднимаясь на гору. — Непадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Гройку», вскрикивая среди галлопа: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремющую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его седых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас пету! Вот это будет почище — «депутат хотел

реку отравить»... Да, по с кого и взыскивать-то? Несчастный парод, прежде всего — несчастный!..» И на малеьшко зеленые глаза Кузьмы наверхулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдечка на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вопиющей, писквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от эвопа посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где пароду было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под погами, на затонтанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стакачик, кределки. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господи, брат тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, апафемы, до чего затоптали, забили парод! «Залетел!» Это к Авдечку-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневай-тесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цепы на хлеб бог стропт». Теперь у мпюгих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал парод все жадный до веселых дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной погой, в желтухе, с черными пе-

чальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая маджурскую папаху и, как вищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный пегодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемадапы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о непормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылкам, мучник Черпаяв, все время косивший на него свинными глазами. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Вагляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирušки! Ты у инспектора-то поги должеп мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были малепькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы толкие... Да хорош был и Полозов, — учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, яспоглазый, с круглым носом и роскошной русской бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с пего ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча

мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке страдника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком страдник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая паблужавшие слезы умиления, стал свертывать сигарку... Но мысли опять спутались. «Страдник — народ, а сконец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Да, по кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать печего. Нынче вам не прежнее...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошадепка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых опухах, в коротком чекме, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курпой пзбой, коноплей, — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахвапасьем...

«Ахвапасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшб... Н-но, апчхрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная, — пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодного папился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Желатый небось?

— Желатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их псех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-по... Сладу с тобой пету, апчхрист!» Наконец, бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел ска-
зывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретем, и оглядывая улицу. Черпозем-то какой! Грязь на дорогах — липкая, жирная, зелепь деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с павозными крышами. Возле изб — разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старпиковой в пачес. Изба кирпичная, в две связи, простепки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, лед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колесо, на крыльце лежит свинья.

Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темпота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохась с помоями... А семья большая, детей много, зимой — явята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; певестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотня!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь помпупто швыряет ухваты, миски, кидается на певесток, засучивая темные жилистые руки, падрывается от визгливой брани, брызжет слюпой и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех паставлениями...

Дальше поверпули на выгон. На выгоне палаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, павалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазальная живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикивания.

— Гуляет парод, — задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить —
Девкам жамки носить!

И певысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и опучи, и повые тяжевые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко тошнул лаптем, взмахнул руками, тепором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой спитцовой рубахи, черпую поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — воппла, среди гама и дробного топота, старушка в похеве, протягивая руки. — Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Цыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала, — говорил Меньшов, тащась по выгону. — Любит она его без памяти, — дело вдове, — а он почесть каждый день мордует ее, пьяный... Зпать, того стоит.

— Это каким же манером — «того стоит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровпо лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, пчеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полуоткрытые...

— Это Чучель, — сказал Меньшов, кивая на больного. — От живота второй год помпрает.

— Чучель? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девочки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, пажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумпе гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумпо, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синеватый на горизонте, — две длинные лощины, заросших дубняком, — назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под солом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретем. Руки костенели от стужи, за ворот чуй-

ки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем поретье воняло прелым завром. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колесах, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшпырнул веретие с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Топковогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми краями, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленой полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба. — Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покато выгоде, — темный казакский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, — обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, — кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с круп-

лыми слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и сукопном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шалы.

— Это Мишка Сиверский, — громко и сплю сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. — Его сожгли вчера... Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К лему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок, — и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплакавшая, серьезная старостица несла от сада рябую курицу, смиренно сидевшую у пед под мышкой. Среди колопок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостицу, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать, — ответила старостица серьезно и печально.

— Дай-ка я зарезу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший капать на наступившего неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостица, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада, — сказал Кузьма.

✓ Федор Ивановича подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он

заглянул туда, увидел в полутьме печь, пары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, по слепая, сидя прямо, как истукан, и, уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладной, на перекладные, как икона, висела большая чугунная доска: знают, по ночам боялись, были в пее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдается», а на просьбу о почлеге только нагло изумился: «Однако ты умеешь! — крикнул он. — Постоялый двор какой пашет! Много вас теперь таких шатаются...» Но смиловившись — разрешил почевать в саду, в бабе. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великоленным голосом, затейливыми вокализациями, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темпорыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — пасмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализмам. — Ишь, раздольевается!

— Кто раздольевается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семой год так-то!

— Это какой же, — что курницу рубил?

— Н-пет, другой... Да это еще что! Ипой раз как примется кричать: «Нопче ты, завтра я», — прямо бяда-а!

— Учится, верпо?

— Хороша учебе!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко пемного.

— Ты в саду спишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел спить.

— Вопа... хватился!

И Аким, пасмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непопятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытии, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непопятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «журипой слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке шпено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темполицый, весь в мокром отрешье и опорках, сбитых и жест-

ких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря п, подняв плеч, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пукп соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугунном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтрунивавшую сотоварищью, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпaeмый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом пронеслся сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, п самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то куппл,— притворио-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди,— рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу.— Вот откинем у хозяина лето — сапоги тебе со скрином куплю.

— «Со скрином»! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам,— сказал Кузьма,— вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку.— Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовички хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У пас, брат, были они, щит-то, да какие еще! На кобели плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю,— сказал он покорно и грустно,— что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. — Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то этому, книжки за его дела выпустил!

— Не все блюдут,— сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не брешь, если не видал,— строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью подпота:

— Что? Это я-то не брешь? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел,— много он мне булок-то давал, доктор-то твой? Много?

— Да дурак,— перебил Митрофан,— булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалап.

Там он, со свистом дыша, зажжет лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугуничком. «Милости просим»,— сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолзил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-

голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Соловьи смолкли, — сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма. — Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А па что ты мне пужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю, — послышался голос пекаря, — сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письменный, — сказал Аким. — Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата, — заговорил Митрофан. — Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город, — радостно подхватил Аким, — и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан. — Чего гогочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акина блестящими глазами. — Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жадеп, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жадеп! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятналтышный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Паинов прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки,— равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет,— подтвердил Митрофан.— Землей, двором сообча владеет с ним, по только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, почью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать,— сказал он наконец.— А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво.— Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь,— отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж дагом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать cigarку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, пыли холодные поги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким

дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баба, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролежавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить назад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой топкошей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потолке. Он дернул спичкой, увидел широкие пары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на пары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая пелёная и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, пожки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, пачал он искать места приказчика, копторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы меща-

нин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонтик! И Кузьма стал поглядывать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдетя по компате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три липнучих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся мотрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеповале пельзя было спать от блох, крика петухов и вопи павозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубецкий домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то ова? Видел оп ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйт, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: палево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита пизким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, по шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали

летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всепопной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа пыла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, крихтенье... «Мотыка», — подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утинная-Головка. Был он в рыжых солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплеываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моты! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернувшись, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, заворачивать цитарку, по, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурповку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Мпронов года два жил в Дурповке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых топила Дурповка, да еще одна темная летняя почь: ни единого огня не было в деревне, а мимо пазы Илья шли, белая в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песней: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова писким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! —

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

п, тоскую, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничным. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, — Тихон Ильич угощал его за обедом паливкой, был очень добр в этот день, — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо, — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полины, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная пользой, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконпой рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. — На морды лошадям сигаает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев, — Мысовых, как называл их Оська, — и белела на выгоде вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годнись. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажепо все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома накопец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому лугу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма почевал в пей на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утрепнем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роясь разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсекольному, милому позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Паши в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на неозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо спели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мешавками, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбравшими падалицы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес

такую чепуху, что приходилось только руками разводить. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседниканисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец, не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай пет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу ставовую чкнул, дунол, малешко, в перо-то, — и готово. Дело-то, кажись, просто, ах поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихри Сеньки, на его живые зеленые глаза, копытое лицо, шуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и дымок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю, — сказал Кузьма. — А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Или шесть мышей, если по шесть грошей, — быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую

цепочку Кузьмы. — Одна мышь поплоше песла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Велпкоелло. А стихи какие?

Сенька выпустил погу.

— Стихи — «Кто он?».

— Выучил?

— Выучил...

— А пу-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего пад Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой, — сказал Кузьма, — а не сядой.

— Ну, сидой, — согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он ухи найдет, — беспечно сказал Сенька, снова берясь за погу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирuşками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распри находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жпва, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь звали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то, — говорила она, легонько вздыхая. — Бедность была лютая, хлебушка и в иовину не хватало. Мужик меня, правду падо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барни. «Как же быть-то?» — говорю мужику. — «Видно, вид», — говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по почам штопала, шила, воровала щиты на чугушке. Раа, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно несло на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, потягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Одподворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два сажени щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугушки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник, Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурповцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась, — и он поглядывал на небо:

— Портится погода. Дожжок теперь для зеленей первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и страшные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не выпнешь вовремя — опять сырая станет...» И поскольку не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поповоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — по верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проспулась эта ведьма на-рани, глядь — а у пей подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязала...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только папевы его слушать. Сидишь в темпоте у открытого окна, пигде ни огишка, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно папевает себе фальцетом: «Смолкин, пташка-капарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал, — дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич посвешил в этот год управиться рапо, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, спегир и еще какие-то петоропливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумпу, пддрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одипоко сидела где-пигудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темпеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машинна-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою осеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге, — то, что видел и слышал в деревне... Больше всех записывал его Серый.

Серый был самый пичий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестия, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встрявал не только во все мирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушу-

бочек короткий, рваный, замызганный, валески разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская из рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела па-стоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, поровил охаять...

— Да ведь язык-то без костей, — говорил Серый. — Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брешь.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но по-датель зашло — па десятирех. И отвалились от земли руки у Серого: «Попеволе сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полныи, по п ту продавал па корню, — «милое за немилое сбывал». И опять с резопом: дожди-сь-ка ее, попробуй! — «Все, к примеру, дожидаться-то луч-ше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмеялся и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он. — Тебе хорошо брехать: де-ву отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то си-дит... ребятник-то. Не чужие ведь. Я воп козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, — воз-ражал, раздражаясь, Яков. — Это у нас, к примеру, все по-дочек да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак пикогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квар-тирам, занимался и в городе и по имениям. Ходил и па клеверѣ. И вот па клеверах-то и повезло ему однажды. На-нялась артель, к какой пристрал Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился маюпоку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забо-гатель: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рас-считал: оказалось, что избу пужно топить. А чем, спраши-вается? Да печем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла па хомут. Правда, лошади еще не было; да

ведь надо же когда-нибудь пачинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — пу, на худой копец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут, — ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь, — сказал Яков, — наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то, не мед, — говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, выпинал изо рта холодную трубку и пачинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он. — Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и пынешный год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономя хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик. — Наскрозь те-

бя вижу: придираешься ты лыжи паладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и поровните в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то поровит, а не мы, — отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал павпывать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье пакладать?

— Не время его пакладать, — твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на почь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время падо зпать.

— Сню же минуто брось пакладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне пельзя бросать.

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещепый человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, павряд! Уйдешь, да вскорости и пазад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не пряпри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика палились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне печего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели поги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это, — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь, — сказал Серый, держа вилы паперевес. — Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчком головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил респлицы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, в темя, что просто металось среди жара, треска, льющейся воды, гама, паваленных возле изб икоп, кадушек, прялок, попов, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозип черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб за зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Спюхалась она, Матрешка-то, с Егоркой с этим... Ну, спюхалась и спюхалась. Нехай. Спюжу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все пырь да пырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку повещали. Сел за из-

бой в солому, сижу, жду. А уж спешок первый папал. Вижу — опять снизу крадется Егорка... А опа и вот опа. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в повую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за пими... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепугались они — до страсти. Оп, как куль, паземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не пужо-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних подштанниках, — почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю — п он сзади идет: спег белый — п он белый, идет, сопит... Деться-то пекуда, — куда кпнешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! Закатилась — пасилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай пет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас околфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их напшыряешь, выбродков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, п зачал ее лудить, — был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю поясницу ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вопа! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. — Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портплась. Писать не хотелось, тоска успливалась. Только п радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобий на Басова, — совершенно лысый мужик в огромной шапке, — писать прошение на свата, переломившего ему ключацу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма

к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать, — в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку — поверх неспяе. — Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыпочку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы па хвattere, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича деемся... Дорогой наш сыпочек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ли можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, п то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой лиственной акаций, небо-образные пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили непавастью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метелц, а четыре — дожди, где за дуждой приходится идти на варок или в выпешник. Когда завернуло непастье, пришлось гостипую забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, душного в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшеничной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха княжна Шахова, которая не припимала даже предводите-

ля дворянства, считая его невоспитанным; отставной жап-дарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, жепившийся па простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурповка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. И Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и пеловко захохотал, увидав па столе самовар. «Самоварчик? Отлпчно! Вы, я вижу, не тороваты па угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черпыми крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одипочество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом па Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, ниц, слабоволеп, всю жизнь ждал каких-то счастливых дпей для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с педелю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русацову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали напяться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да до веку и не буду!

И Серый, пе снимая шапки, опять надолго засел па лавку. И в сумерки тоскливо стаповилось па душе при взгляде па его избу. В сумерки за широким спешным логом скупо черпела Дурповка, ее риги и лозинки па задворках. Но темпело и — загорались огопынки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно черпела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя па пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыш видпо сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как пакидапным па стропила; пайдешь ошунью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видпо, но угадываешь:

хозяин на лавке, — угольком краснеет его трубка; хозяйка, — смиренная, молчаливая, с придурью баба, — тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под парами шуршат, возятся коза и поросенок, — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Ну как, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемпогу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под сипевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустынее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порогах. Потом завернули выюги и памели, навалили столько снега, что деревня припала диким северным видом, стала черпнуть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под пахлбученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За выюгами подули по затвердевшему серому пасту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с беспрютных дубовых кустарников в логах, пошел толпуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Мплев, споконь веку приверженный охоте, превратился в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне поварные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурповка, над вопючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше низких голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжелые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били валь-

ками и перекинулись, сообщая друг другу, что руки «зашились с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у спохи Якова заваляло горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не спала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в сивевой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами ставилось холодно, как в сепцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошелев. Слышался его пегромкий сиплый голос, — голос человека, проснувшегося рано, натоцок озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где таракапы до кровли обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Одподворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий парод! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной почевала молодая жепщпа, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в пей что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмеялся он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи — у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать, — скажешь ему. — Дай мне, пожалуйста, в счет жалования рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятнальтипный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, бреешься, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам, — ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, пагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич, — пробормотал он, отвертываясь к окну. — И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и пеловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От чистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевинее, покрылась какими-то мелкими липовыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пупек белье. Намерзло возле изб — липли помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пупками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и пеловко ступая безобразными задубевшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, большой, темполицый Чугупок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, заппавшие друг у друга то соли, то пшепа, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумпах было

пусто, — только у Якова дымились ворота риги: оп, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстиралось под низким белесым небом серое спешное поле, пустыня воплощенного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелею в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился перенести. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не спал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту шепчущую колею, какая, может быть, и принадлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на пары и покуривает себе, мотая топкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раз два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Баращий тулуп его служил так давно, что весь пошел лысыми. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надыхаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал спешно-серый простор, позимнему сияющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, несась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся гудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок сапеев. Кошель, с черпо-лиловой обмороженной щекой, бодро крихтя, соскакивал с облужка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал пазухи, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, пыли и коченели, лоб

и скулы ломило... А в пизенькой почтовой конторе в Ульяповке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемцелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, — о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его, — его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадей, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Ивапушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, некогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший по камням внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Ивапушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Ивапушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому», — и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пепсе, как на какого-то степного зверя, присутствие которого бы-

до страшно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, пначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь, — она улыбалась только ему одному, — негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо пыл в ответ, иногда бормотал: «Спаси тебе господь, внучка», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно припирался за еду. На его бурых волосах, пчеловещески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, падетого на грязную поскобленную рубаху, пахло курпой избой. Изауродованные долготейшей работой руки, корявые негнувшиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым пытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расставкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Теперь, брат, не подынешь... Гпеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силлся поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а пайдя и успокоившись, пачинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издавека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже

был грузел»; что Ивип Креститель родился лохматый, как барап, п, крестя, бил крестника костьюлем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, п дель Флора и Лавра, воровит человека убить; рассказы-вал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерип, которого держали «па чепи» — так слепп и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Ивапушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, почевала в ней, по дав сперва перепочевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Ивапушка подпимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склопясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть — и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Ивапушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озарепным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегрешения...» Потом задумался, долго молчал, припикнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похоронь? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стелы стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмикопечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяпом: Лукьяп захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, — привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьяп позьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяпа лет пять проклипали потом за пих, сживали попреками со свету... Ивапушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, ле-

жа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленями, заикался, высоко поднял грудь вдохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал на-за Иванушки в постели. Утром па крещенье говорили, что птица мерзпет па лету, а у Кузьмы даже валепок не было. И все-таки он посмел взглянуть па мертвого. Руки его, сложенные и закованные под огромной грудью па чистой посконной рубахе, уродовавшие мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А па волосы, па мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, пад возглавием широкого липового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала па рога и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали наворачиваться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Запидевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из поздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко вивжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки хлопнулись в густом кудрявом снеге, и крупные серые овсянки стаей летели перед меринком, рассыпались по лоснящейся дороге, клевали мерзлый павоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже па святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зубури тянулись голубые тень...

Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее пазад, домой.

Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдно и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, окошел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и поес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Конечно! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптами, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дупюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за пуждой, лег на диван... И вечера смешались с почам, почн с днями, счет их потерялся...

В первую почь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила по сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла почевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, большой и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней почн и висит пенужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь, — зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по кармапам.

Он хотел ажечь спичку. Но шепот его был горячий, в пылающей голове шумело и звело, рук, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней, — бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, — руки ее

пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, чего приехала она не к нему, а на похороны Ивашки... что она внезапно басом зацела под гитару: «Хаз-Булат удалой, беднѣ сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в пачале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воропежем, по даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хорошили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурповке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку, — и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и страшны, как всегда кажется беспощадна, чужда и страшна большим обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: услышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да пу его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Силел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, цепах па муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хорошили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель па Дурповку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге па вокзал; понимал, что стоил Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурповку — и был совершенно равнодушен...

Проспавшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, павалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-солоную лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким печистым

хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок, — пайти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или пегодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, — и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким пожичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на спег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и постигла бы, да «спасибо, спег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и пошепел оправляясь. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-серых воропа боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый спег. «Иванушка, Серый, воропы... — подумал Кузьма. — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее воп из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал спег. Деревья черпела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный копским пометом. Пели петухи, из вефплятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось: жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата, — какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя, — сказал он, подумав. —

Я и лавку с двором с первого марта передаю, — поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Одподворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жепиться, что у него есть дупежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехней, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал записывать в сыпе. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и пажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать па цигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинками. Обдирал он, конечно, тайком, по раз-таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услышав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая пелепость! Потом, приходя в себя по время болезни, он даже радовался этой пелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — пзумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяшицу...

— А лодыря, драчуну, дурака набитого, — прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вдохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как апааете,— сказала она с дрожью в голосе.— Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. — Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глотать? Бездомной побирешкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал распространять дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам,— сказала она тем мягким тоном, каким говорила с Иланушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, копчив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо плеслась белая крупа, падая на черную пыльную деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места. — Скажи Кошелеву — лошадь в козырьки запрещь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с пасупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не двигая бровей. — Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат,— ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь, — ответил Кузьма тихо. — Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Подделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, — картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки вверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же, — сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам падо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукни сып! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за траяду, прости ты, господи, мое согрешение, — полусердито, полусутливо отозвался Тихон Ильич. — Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потерял свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, — какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, — твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. — И прошу тебя, братуша, — прими ты участие в пей, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, пеловко. А после того перебирайся сюда. Гårно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, — за сылку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от пог прах ее, — и хоть в татарары провались опа. Не погибать же в пей! У меня, имей в виду, — сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки, — у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломаю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, — слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот повесть-кий типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентименталец и дурачком прикидывается, — это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, — нахмурился, перебил Тихон Ильич. — Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма. — Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, неадекватный! Вы оба неадекватны друг друга! Оп про тебя ипаче и не говорит, как «живорез, в холку народу вьелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он пагло хвастается на деревце, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую оп, знаешь, что говорит! — продол-

жал Кузьма, не слушая. — У нее, поймаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семейный? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как демаи коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич. — Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хорошие хозяева! Я, песню, об деле тебе говорю, — в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хотя и лепту одну подам, да за лепту эту помолит мне господь,

Кузьма вскопчил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальцетом. — Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Деписки, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой, — строго спросил Тихон Ильич. — У какого такого Акимки?

— Я воп околевал лежал, — продолжал Кузьма, не слушая, — много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма. — Не паучеп!

И, оглядываясь бегущими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат, — сказал он, и скулы его покраснели. — Запомни: паша с тобой песни снет. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к черту не годный парод! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пахнут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. — «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажегавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лептяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что зажегший фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не пам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами поспинело. На лужи и сугробы летел молодой белой снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не знал, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся, — думал он безнадежно. — Да туда и дорога. Все равно!»

Закурив, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормotal:

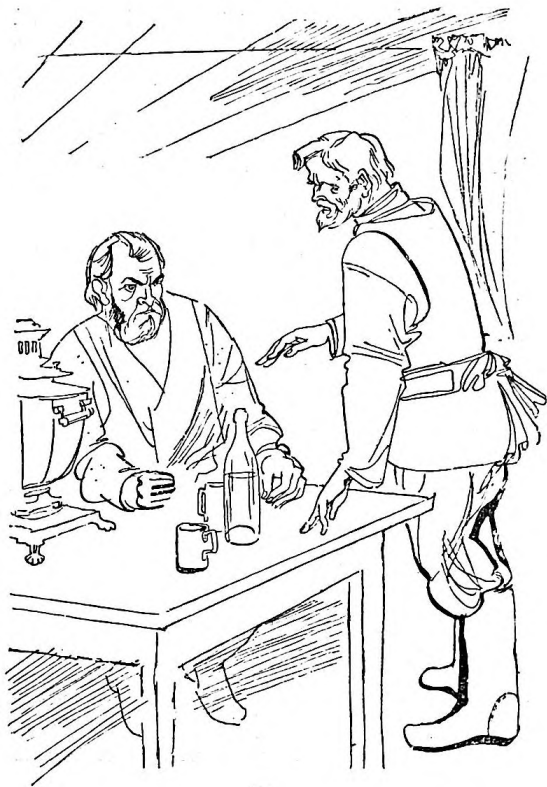
— А ты — «Деписка»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насильовали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич, — ласково сказал Кузьма, — что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакивашь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью, — тихо ответил Тихон Ильич. — Да запьешь!



Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухой? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, — кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, — будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить, — отозвался Тихон Ильич страдальчески. — Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. — Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и вам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, стой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божню созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Вопстипу суета человеческая, житие же — сень и соние. Ибо все млетется всяк земпородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царпе и пищии...

— Царие и пищии! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его *наизнанку*... Понимаешь? От дурн да от жадности. Жалко палицо по будням посить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... с жизнью-то своей. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только

одно — туную тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, нагнувшись на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска почесал их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету, — говорила Молодая. — А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то пельзя, — певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и переспливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил, — ответила Молодая. — Надоед даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьмечу Ильичу, встать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекмену, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном. — Тебе парочную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, пиди,— шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут,— сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красевший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лица было видно.

— Ну, как же, дочка, решай,— усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь падо... Может, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Одподворка, рабыня всех узпавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолпухами, посадила невесту с женихом под икону, палила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие респицы:

Как у нас да по садику,
Зеленом виноградику,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенек...

На другой дець всякий, кто слышал от Серого об этом шире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немпожко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать падо». Серый молча ушел домой и припес Молодой, которая гладила в прихожей, два чу-гунчика и моток черных ниток.

— Вот, невестушка,— сказал он смущенно,— па, свекровь прислала. Может, па что годится... Нету ведь ничего,— кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утепнить, сказать, что и ему «пе мед», по помялся, вздохнул и, поставив чугуники на подоконник, вышел.

— Питки-то я в чугуничик положил,— пробормотал он.

— Спасибо, батюшка,— еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх плеча. Она смолкла.

— Слушай,— сказал Кузьма.— Может, кипнуть всю эту историю?

— Теперь поздно,— негромко ответила Молодая.— Уже и так страму не оберешься... Ай не знают все, па чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупитчатой муки, пшена и худую свиную... Но по пропадать же из-за того, что свиную эту зарезали!

— Ох,— сказал Кузьма,— измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиной?

— Дешевле не дешевле,— мертвых с погоста не посят,— просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину.— Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойнее. «Ну, шабаш,— тут пива не сварить!» — подумал Кузьма и сказал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Победая, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженный пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугуны лапши, чугуны щей, чугуны каши — все с убойной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, орапьевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свиную. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовые. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал па снег большую пляшущую тень,— тень лыжника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка —

созывать пригид и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребке, переходившую с девшника на девшник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв поджак с подранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармошках и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, пагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между пог, их хватили за шен и выталкивали вон, — они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у приоткрытой. Тут теснился народ почище — девки в цветных шальях, ребята во всем повом. Пахло красным товаром, полущубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели паряженные игрицы, грубо парумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными выющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затапула грубым и сильным голосом старинную неличальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем конце вечера,
При Авдотьином девшнику...

Девки дружным и пестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой покрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитапиями: «Родный мой батюшка, родная матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, копчив песню, недовольно

покосились на нее. Потом пошепталась и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «спротскую»:

Растопился, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеникам, сладостно заломило скулы, и глаза палились, помутнились слезами. Невеста завернувшись в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.
Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди моего батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жепиха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружок, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылезайте, вылезайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на каждом углу, пятый — посередине да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять попесло паром и холодом — вошла, расталкивая парод, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кипнул на солому посреди избы чей-то старший полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял

икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, попернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом неслась непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудилось дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымилась. С крыльца, на котором, жмурясь, обояв сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сапи, позвякивание колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту однопочку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы падали ватные шубки, накрылись шальями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свисту божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранный венком булавочных цветов, была закутана шальями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белыл усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, пагубая голову, беря вожжи и садясь рядом с жепихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, бословите жениха по певесту схать! Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы запыли, полозья закрипели, сугробы, разрываемые пми, задымились, завихрились, вихри, гриваы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, лизких сводов и решеток в оконечках. Спечи горели только в руках жениха и певесты да в руке черного, с большими лопатками священника, паклопавшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях патаскали много снега, — в спицы дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с певестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смиренни, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всяа твари содетелью... — говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос. — Иже раба твоего Авраама благословивый и разперзый ложесна Саррипа... иже Исаака Ревекке даровавший... Иакова Рахили считавый... подаждь рабом твоим сим...»

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломнику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и дждь има от росы небесныя свыше... исполни дома их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же са-

мому, коротконотому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было пеловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом па-верху, падетый глубоко, па уши. И рука Молодой, казав-шейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск-тающей свечк капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Васьки Крас-пого стояла в передних саях, плясала, как шаман, махала платочком и орала па ветер, в буйную темную муть, в снег, летевиный ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!

Москва
1909—1910



СУХОДОЛ

I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луисе, прожила как родная, а по как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но педаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Но хуже моего батюшки с матушкой.

— А опп отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за

провпности, матушка веку не дожидла из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворе сказывали: была она птшницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и заперол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух воп от ужастн!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней осливали.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с топкой усмешечкой, морщинвей ее губы, и обтирала их темной старушечей рукой. — Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — когда было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более страшное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Геруваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Топя, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девочкой на всю жизнь полюбила она покойного

дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Собики... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отнеся на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Бороши бог! Для не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка, — скромно говорила она. — Уж куда иголка, туда, видно, и питка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В пицете, в избе обитала тети Топя. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе.

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Луневу, полевое поместье бабки пашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косящего ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предании. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лептаны, мечтатели, — где

опи могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тропушки нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабостью задушевностью про «верную-маперную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокоен веку славился Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Лулевым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задопск. Но ведь слы порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглухшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглухшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство бабушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лулево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали ему руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенец. И мы, выросшие в поле, чуток к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый,

— Да лучше камень в горе биты!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лупево, полевое поместье бабки пашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой копчипы своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, передко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, спимая со степы гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что восдино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворян и деревни покоп веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами мепялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворян, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращурь. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отравы для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где

они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тропушки нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабавольной задумчивостью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокоен веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в едиповых семьях. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Лупевым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задопск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лупево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они клацались отцу в пояс, целовали ему руку, затем, трихнув волосами, троекратно целовались п с ним, п с Натальей, п с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый,

приятный, копопяный какой-то запах, что оцупцали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотеца — пупьками, курными избами времеп дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безымянные. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно несякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь непадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгопу, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненным змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тараптас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржаках высокую и пристрапную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тараптасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа

и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был падет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тонких грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тети Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая питийный посок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой почлопнулась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лантях, в шерстяной красной юбке и в серой рубаше с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, по вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсекольников... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, поняли мы бродить по темнеющим горницам, изца балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сапдалии и шлем хранятся на сцене в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским

воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, — на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половицках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, — туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы... Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллен, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйста-с, — окликнул нас пегромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, темного согнувшись по церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шляка она не сняла, по вместо халата на ней было теперь старомодное бережливое платье, на плечи лакипута блекло-золотистая шелковая шаль.

— *Où êtes-vous, mes enfants?*¹ — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

¹ Где вы, дети мои? (франц.)

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Нахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было прыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены освещенные стекляные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в синцевых пестреных платицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалих — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладошкой по одной из них, трепетно замправшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегающий по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными черными столбами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнут старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича

зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишеник! А в полураскрытой риге жил филип. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенела где-то над лугами жалейки старика пастуха Степы... Филипп сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревья, и усадьба. А Филипп только и делал, что ухал и плакал. Он бесшумно посился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Топи, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Иисусе сладчайший, помилуй мя, — шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и педовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То королева чесалась боком о ступу избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот Филипп, криками своим пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шаркала по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филипп, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, вымыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хотать и вагизгивать; опять смолкал — и разражался стоном, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом — и

тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью стены, полевых цветов и трав, осторожно подпнулись мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с паспимся...

Мы селились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаря темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой стене. Предостерегающе-тревожно крикала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое. Мы, бывалыча, так-то все почи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, пялечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострелять. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружио, значит, жили?

— Куда как дружио! А уж особенно после того, как

заболел-то опе, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А порох дворовых часто?

— Этого у нас и в заведение не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими пожнинами облобавить, за трапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; по порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, няпечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой копчала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать по давал — в почку темную...»

Пересклевывая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В обморок-с. Мы, дворовые, страшные пещные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне пещно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, — крик-

пула я, да п замертво! А пришедши в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своеправнее всех тетя была?

— Опе-с, опе-с. Докладываю же вам: их даже к угодику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а опе погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ним случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежде-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш пакажут Герваську в обед,— эптого и следовало! — а вечером, глядь, уж па дворе жируют, на бала-лайках с ним жундят...

— А скажи,— оп хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь п дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело нное, сударыня. Да п дом у нас был сумрачен,— певеселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом пачинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старицу везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись п речка Камешка, п те верхи, где протекала она, п деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была пная: полустепной про-

стор, голые кособокри, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие купистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделился с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворе, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, — сутулый брюнет, с черными, внимательнопласковыми глазами, немного похожий на тетю Тою, — в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглидываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в придаю, — бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хотите — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, или густой нещипящийся суровец и сыпал столько крупной

серой соли, что тюрка оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замедляла, все разбредалось по излюбленным углам и надолго засыпало, не знал, куда деваться, одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девицы и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Топюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папечка!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, — минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, — а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, — «уж не Петенька ли из полка в побывку», — или что заходит страшная градовая туча.

— Опп, голубчики, уж очень грозы боялись, — рассказывала Наталья. — Я-то еще девчонкой простоволосой была, ву, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черпый был... певеселый, господь с ним. А день летом — год. Дворники девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, — особенно к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотию набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домопому, сударь: спроставья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину собирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажечь, полотенец заветное с покойника прадедушки вешать, — боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

...Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, — сперва какой-то Луп Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усамп и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечпо зябнувшая мадамзель Сизи, — когда по всем комнатам гремел голос Луп Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «*Maître corbeau sur un arbre perché*»¹, — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на трети капикулы. Когда прошли эти капикулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья, и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, — волк коню не свойственник. Подружались они это, поклялись в дружбе на вечные времена, помещались даже крестами, а Герваська вскорости же и пачередил: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж, — говорит раз барчуку, — ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду». — «Аппет». — «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучил Аркадь Петровича залезть в нее и показаться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на пер-

¹ «Ворон, взобравшись на дерево» (франц.).

ном месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владеет: он дворовым или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, — обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, — темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По почам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по почам в доме было страшно. А днем — солнно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с лепивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обижаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пронадал с ним на каких-то Менцерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, — значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечп, кликнут Дианку, да и с господом: пынче на Середнюю мельницу, завтра на Менцерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коповод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, *«Закатилось солнце красное за лес...»*. А Герваська посмотрит на пых, пустит в поздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте первая ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще

черней делается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодий!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья». — «Винюват, сударь». А барчук задвохнулся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то «сударь»! — кричат. — Я, мол, поровлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковишное дело! — говорила Наталья. — Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук, — а, по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в пей... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась после своей провинности...

V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Топя, тронувшись, обрела себя в песты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Топя и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи, и для тети Топи.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой понара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые пожи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затановающим злобу на того, кто смущал его.

— Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, — помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архаук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Гervasька нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. — У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. — Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фора! — радостно, топким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. — Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кпнжал в бок по эфес всажу!

А Гervasька и тут нашелся.

— Я, сударь, слыхал, что за это больно паказывают, — возразил он, васупясь. — А то и мне все лезет в голову: пора барицу в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданного дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Гervasьке только одно: «Сию мнуну выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могла забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доньше, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские време-

па; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но певчим, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страннее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вывести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и посмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде поправиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряджавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девочки, которую, в затрапезной рубашке, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на названую телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный

хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве топут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью истреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стояла одна старуха хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, — конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не посмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, перепочует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она хотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не рассказан. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издали пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» павесов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел

в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела не двигаясь, но сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадей в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевниша, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. — Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернокобому. — «Смотри!» — А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и выведи... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчки какие мимо хутора — только слово сказать: в один мент за Ростовом-батюшкой очутишься... А там и помпный как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стрепетной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега закрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадей к колодцу среди площади. Там, откуда прехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбуждал мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчки выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убоженьких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Гервасья!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел в Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.



И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной бапеей догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноги, сидя спиной к заре, ударя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огнискского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темнотливого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У пей — свой, а у меня — свой», — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапавы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к пей быстрыми шагами — и она не проропнит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный парод, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?»

Но проехал мимо собора, стал спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным кособорам, мимо черных кузниц, мимо глиных мещанских лачуг... Опять знакомо за-

пахло пресной теплой водой, плом, полевой печерпей свежестью. Первый огонек блеснул вдаль, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выbralся на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в спнь степной свежей вочи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо почью и на земле и в себе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с кадюшомом, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведроко... Опа вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежноти, которая молнией прошла ее перинное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девочке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, уезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навек, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и непамять.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибло в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович позвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «по-певоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетюшки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы пюхательным табакером. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит именем единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смутился, он не залпывал таким темным румянцем, как прежде. Он выходился, пополнял, носил дорожке архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, по бестакте, болтал и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в покое, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радужным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу пико-

гда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и вниз и вверх, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезая на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, заморившего от стыда и злости, по решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делая па, подпрыгивая, кидая погу за погу, отвешивая низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Луцко, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играл с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми, — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, — пойми, змея, что могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Топечка. — Папепька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался воп из компании.

Очень тревожил на Покров и Герваська. Как бы не грубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, пескладный, по и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был шаря-жеп в синий казакци, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблучков. Гарусный липовый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, по остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было печего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покапывания, многие думали: «А скоро ты, борзой, пздохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению двора, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои песоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубил и горячий, сударь, — сказал он безразлично, играя черными глазами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он. — Выйди воп! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос па верхней губе, покашлил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой маперы — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и па Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеем мелом темное тяжелое серебро пкоц, поддавая погами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся палевашиники, хвостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дякоп, подрясник лопнет!»

— Смотри не папейся, — рассеянно, волпуясь пз-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил, — как равному, кинул ему Герваська. — Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже запскиваяще кричал па весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как вкогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил па груди казакии и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот па этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он па каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался де-

душка до слез, по его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сделался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у ступи строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходит, в Трошинном лесу, говорят, опять двух френцузов бонапартишкиных поймали... Я беспрерывно помру вечером, — помните мое слово! Мне Мартыи Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варевья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И значит, впереди был не только цовый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да, — волнуясь, думал дедушка почью, скинув казакши и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. — Да, да, смерть грешнику люта... Да не зойдет солнце в гнев нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную мо-

пашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утрепника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлеющим, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картишной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый топ был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, «злой как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, вместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюняк, хуже осени! — перебил Герваська. — Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновенно подумав, негромко крикнул он. — Это ты должен уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе книжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, — и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на запошенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем бесшумно и быстро вышел из гостиной — и как в воду капнул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добрё ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженной девочки, круглолицей и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную деву, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахе и вышитой

сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, пстому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, копейчо, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышню, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные сплились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Герваська до смерти, паговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и сплялось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяйев-то не клекнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел скзывать. А им сказал, — спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на него вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девчечьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было, — повторяла она.

А раз сказала топом богомолки:

— У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «охотниками», что барышня «тروطлась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, — маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и бесшумно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня, — барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением порвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка подетски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она. — Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видела», — барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое умение: увертываться.

Накопец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет

совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с, — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколотная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно патыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж, — сказала она задумчиво. — И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери по жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому повому, что окружало ее. Прнехали под утро — и страшным показалось ей в это утро только то, что хата очень дупина и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молчал без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркалаще, — а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело запыл под нос: «Круть, верть, метелиця...» Потом стала она понемпогу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с перыпливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы

окужались их, как красиво пестрели полотепца, впсевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды спзых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре усы,— он только усы носил,— тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, пужных почему-то. Ходил он неловко,— тяжелы были его сапоги,— в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкою под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчишкой, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя жевница. Желтоватый загар ровно покрывал топкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямою и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то лютарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облетала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были топкие, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

Як зіпшла зоря печірова
Та над Почаєвом стала,

как сама божья мать святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, зазывания, во

вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, по ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашопками». Но распашопок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашопки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёкашем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марица в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила,—

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого
Миленького,
Що я полюбила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто спившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида смеялась в ее сердце печалью, страсть и отчаяние — покорностью, желаньем самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, повости, доходившие из Суходола, отрезывали. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество

и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай довеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими главищами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот жешится, ты ему и в любвицы не годишься... Образумься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерпо, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай не думай — по-пашему не будет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. — У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приспилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косягове безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со включенными ветром рыжими кудлами, в распоясанной развевающейся огненно-красной рубаше. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?» — «До шепту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. — Туча идет несказанная! И думать не могли замуж собираться!» — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, испривстойно возбужденный, с горя-

щими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человеческим голосом, быстро и ловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких спов на своей постели в сеницах, чуть не умирая она от сердцебиения, от страха темноты в мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Иисусе,— скороговоркой шептала она.— Матушка царяда небесная! Угодники божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась,— педаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к бариппу! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смиренности. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

VIII

У нее ноги отпились от радости, когда, выскочив на порог пакаунне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидела она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидела рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путавую бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несообразности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, — мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо опушенной шеей, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу пропел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самую себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергibusом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шеню жеребенка и силится закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Паптюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, — с прямо вытянутыми погами, — с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «ничего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, спзой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, — вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калявсья: видно, уж придется подгузники скидывать! Не мниуешь!

А как забилося сердце, когда увидала она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние степы людских, амбаров, конюшен. Желтое ржавое поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в кирпичевых пятнах теленок топнул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все пообычвее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечамп, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клеткамп, висевшими над окном, — и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему воссело озареп был сумрачный зал солп-

цем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, спрятливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, — все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приготавливая его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова постлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, остроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидела роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидания стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили спы, почная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, жепница еще молодая, надев темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязливой. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюпу, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирело орал новый Хрущев. А его уже пазывали барчуком, — уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, воп он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой большой барышни. Зямой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умиленьем рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуну из села Чермашного, знаменитого Климом Ерохиным, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преобразавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный шаг, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темплет... пора, — говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, спя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клим. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, — даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел пикто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки,

дежурившей в коридоре, — на случай зова, приказаний Клим, — мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встап, раба божья!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску, — кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темпо было, что едва различала Наталья лицо Клим. И вдруг он зачищал страпным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окляне, — бормотал он глухой злойшей скороговоркой, — на море, на окляне, на острове Буяне лежит сучница, на ей серая рунца...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И пельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвоваппя в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять припимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, бог даст, полегчает малеько... Сеяли гречишку-то в попешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, поще гречихи! Дуже хороши!

Летом ждала из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше пачала осени вельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя рапы Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли копчится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышние

и Наталье не до них было. Барышня сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она вспоминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, вспоминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забирать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, мошахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дропя, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стучался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, заламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щипок от солища. — Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче божий Дропне, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Клячипский: маленький, жепоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косога младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубаше и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с поско ступал он маленькими палитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Беда! — бормотал он, задыхаясь. — Беда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отыпался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вслед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взывался первый вихрь по выгогу и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмирится огонь. А в усадьбе летели в крапиву пожницы, выпиналось страшное заветное полотенце, завешивалось окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим рдеениям пристрял некто Юшка, «провиненный монах», как он пазывал себя.

IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «про-

выпвости». — «Я, брат, мужик, да умею и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться страшиком по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекайся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровений.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сепюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что оп

бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему перепочевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямою барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без усталости забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз оставлял в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подряскин, и страшен, страшнее.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что хуже всего липало ее спл, так это сознание, что совершается нечто *нечеловеческое*, что близко осуществление страшного сна ее, — в Сопках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стопать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, перусалимский душп мя!» А кто же этот змий, как не черт, по тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходивец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, немощном чае, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спальне дома, уже чувствовала она первые приступы той тяжелой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возник-

кал зуд в ее ступне, проходила по пей острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изумерски, сладострастно крутя жилы, по погам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И поминутее свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделящего, древнего Огпеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от топча, очнулась. Было самое глухое время — она поплыла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один копец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осповые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окняне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучница, серая руница...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидела, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к пей, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кипул сперва на колени, потом павзпичь, на холодный пол прихожей...

Пришел к пей Юшка и на следующую ночь. Ходил п еще много почей, — и она, теряя сознание от ужаса и отпращепя, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по почам па-

слаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодю и вору, сосланному, в конце копцов, в Сибирь, на поселение... Накопец паскутила Наташка Юшке, паскутил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее свидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскокнул из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что паткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее пошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней перьяшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с цею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к пей, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии, — ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бо-

яться людей! Черничкой, смиренной и простой служгой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного при-
частия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Во-
ропежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только
на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-де-
вичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой
руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные
слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворе и в
деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко ска-
зать — начинать жизнь по-новому! По-новому жить пред-
стояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть
дедушки, потом война, комета, паводившая ужас на всю
страпу, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро
изменило лица и души господ, лишило их молодости,
беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости,
а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу:
пачались «целады», как говорил отец, дошло до татарок за
столом... Нужда стала напоминать о настоятельной не-
обходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорчен-
ные Крымом, пожаром, доягами. А в хозяйстве братья
только мешали друг другу. Один был пелепо жаден, строг
и подозрителен, другой — пелепо щедр, добр и доверчив.
Столковавшись кое-как, решились они на предприятие,
долженствовавшее принести большой доход: заложили
имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, —
собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то
Ильи Самсопова, цыгана. Лошадей они хотели выправить
за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив
огромное количество муки и соломы, лошади почти все,
одна за другою, к весне почему-то поволокли...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до
того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно,
чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не сва-
лилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвра-
щения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды
в Луцево, где была у него любовница. Он прожил на хуто-
ре двое суток, все время пил там, хмельной и домой по-
скал. Была очень снежно; в развалины, покрытые ковром,
была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал
отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по
брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к роз-

вальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к пей, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, — крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину погой. И сильный гледой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой спешной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней почпе... А в полпочь, когда уже мертвым спом спали все в Суходоле, в окно прихожей, где почевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, развальи и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, страпно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к развальям, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

Х

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и пищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, остапавливались, голос переходил в строгий, ладный полупшепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого папшего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни пшем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам папи отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук,

в клоках задеревевевшей и лысой тюлепной кожи, которой был обшит оп чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвигающимися ящичками из карельской березы, лабитой обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, допелзая закапанным воском. Потом исчез и оп. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостинной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного угасания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, по все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, одни за другими бесследно исчезают холмики над подземными ходами и порами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился оп для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, зпаты и древни родом. Имена наши поминуют хрупки; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся опи рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, паложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы оп признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла лупевская усадьба, было уже дав-

по распаханно и засеяно, как распаханая, засеяная была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, — ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Смеялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, топили в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжкие были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его выюги, пaskвозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, — единственной жилой горницы, — жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, пакловялась к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим пабок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, почуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, — если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть:

могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой степой стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, липов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

Васильевское. 1911



БРАТЯ

Взгляни на братьев, избивающих друг друга.
Я хочу говорить о печали.

Сутта Нипата

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в кокосовых лесах. Слева, в их тенистой дали, испещренной солнечным светом, под высоким навесом перистых метелок-верхушек, разбросаны сингалезские хижины, такие пизенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелятся глубокие шелковистые пески, блестит золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней грубые паруса первобытных пиро-го, утлых сигарообразных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого побережья... Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследникам земли прародителей, как и теишь еще пазывают Цейлон, зачем

пм города, центы, рупии? Разве не всё дают им лес, океан, солище? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, тресты — на севере острова — ловят жемчуг, опускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые замечают лошадей, — возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осепенным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэндри, в Нурилью.

На левую руку рикши, между плечом и локтем, англичапе, лыпешине хозяева острова, падевают бляху с помером. Есть простые помера, есть особенные. Старикун сингалезу, рикше, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался особенный, седьмой помер. «Зачем, — сказал бы Возвышенный, — зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести?» — «Затем, — ответили бы монахи, — затем, Возвышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что от века призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много малепьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о них». Он был череп, очень худ и невзрачен, похож и на подростка и на жеппицу; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его поса, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая кровавую пепу, пачкая усы и губы, бежал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому, но по-английски знал плохо, названия мест, куда падо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки и высоки, оглобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви,

усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в копытных руках, задумался о делах, загляделся — и вдруг злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чайники удара. Но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами сияют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда так весело и резко скрипят зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело нахлуп в оградах старых буддийских вихар, крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие туберозы, такими яркими самцветами переливаются толстоголовые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славилو бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, нстребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер — от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, — и настала почь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорчепый труп, потерявший свой помер, свое имя, как теряет свое название река Келатти, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер;

а во что переходит умерший? Ночь быстро гасла сказочно-пестрые, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища почлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, зпойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанном рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандалового дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправды прежней. Зубастая старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же перазумной любовью и жалостью. Возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась порядочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, падая прямо на голое кофейное тело. Голые дети, как черепята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легкопопный юпоща, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, круглолицую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услышав о смерти отца, — он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцу. «Не забывай, — сказал Возвышенный, — не забывай, юпоща, каждый день возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его — от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юпощу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива позаивдовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие копские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза

из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отвесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омыться. Старичок отбегался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху — и, любясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикиами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова; потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, к желанной которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть желание имущества, а желание имущества — желание благополучия. Но однажды, прибежав домой, он паткнулся на другую странную весть: невеста его исчезла — пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Коломбо, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, чтобы узнать, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; по это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть недостаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой седью, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была выекая. От него пельзя было добиться правды, а женщины, девушки все слабы, как все реки извилисты, и молодой рикша понимал это. В столбике просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бежал, жадно копил деньги — и пельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою бедотню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк сился с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его, — вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшани, под многостольным баннапом на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку Викторини. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баннап, и уже не было тепл у его корней, осыпанных сожженной листвой. Коласочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнувшей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, пекло-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбородка подняв острыми углами колени, положив на них руки, а на руки — свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бупгалоу, испещренных светотепью, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, впереводки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они палетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, — и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресниц сквозь блестящие стекла. Он сел умело — сразу пошел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лупке, позвал Йорк-Стрип. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но взгляд страшен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, помпунто поцелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок

полдень, — так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зеленела и цвела над бунгалоу, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками, пресытили воздух теплом и благоуханием, — лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых топкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, пакаемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидел концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов — и уже бетель? Но ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот, — трусливый, как все сингалезы, но и пастойчивый, — только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

— Бетель! — повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечно-го дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арекового плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедал Возвышенный. Да, по что зпал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несчетными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди жепцил и пищих, слушал жрецов, читавших па древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал, только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что моллился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежащей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а потом клал на

жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжело заработанных монет. Но бормотал он равнодушно, — он ведь только боялся картин на степях кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индуистскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Супув бетель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменившийся, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, по он сидел неподвижно, не дотрогнулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от него. И англичанин опять уступил, — он рассеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положили колени на колесо. Прокатила двуколка, запряженная серым горбатым бычком, — под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепапнике, инитом золотом. Великан-афгавец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакке и огромном розовом тюрбани, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою — целая куча коричневых тел, молодых рабочих. Толстые, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли щеками, шагали у колес, точно мумии старух. Шли камешники, дюжие черные томилы... «Пагода», — разумея чайный дом, сказал англичанин под тем патриархальными деревьями, что

растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в пиж-нем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой пыльной улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кет-мий, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша баплым благовопным теплом полдня и бессмысленно пово-дя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, выпул из-за передника тряпку, вытер ею окровавленные бстелем губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сло-жив ее бигом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, ду-мал... «Тела паши, господи, различны, по сердце, конеч-но, одно», — сказал Аианда Возвышенному, и, зпачит, можно представить себе, что должен думать или чувство-вать юпоша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы — любви к жен-щине, уже вмешавшийся в жизнь, быстро бегущую за ра-достями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, по ведь Мара и залечивает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, по ведь Мара и разжи-гает человека снова схватить отпнятое или другое что-ли-будь, подобное отпнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в вит-ринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового де-рева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапичах шкуры пантер. А рикша, что-то думая пп только чувст-вуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясочку. Ровно в пол-день англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе по-есть, а сам ушел в контору большого европейского паро-ходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как делают это жепщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурмапепный, сидел он в сквозной тепи против трехэтаж-ного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, уви-дел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в би-

пошли на гавань — и вот за крышами пристани показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво, отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши помер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двадцатидневного плаванья в Коломбо — и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с тем двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Викторни, к крытой пристани, и опять побрел по улице рикша — на этот раз к отелю, где в эту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой развешали, мешали с запахом кушаний первешпеси под потолком весла, сло и шло много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тепь соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тепи женоподобные спигалезы, павязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни, — один даже таскал за собой на шпуре и продавал зверька в шубке из длинных колючек, — и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная жепница, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали слезы и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестящий напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными папталопами и белой обувью. «Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы, — сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, позвавших желанья. — Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их, — сказал он, — желанье обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает

дереву Шала». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезней были на серых лицах идущих к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатыть на рикшах на берег океана, в Сады Корицы, к индусским храмам и буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннопозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, по порогу проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вожделение, пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца возрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, падетых на голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое ожерелье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвенят журчаньем древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут припадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля, — глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо не зная, как убить время, он в нерешительности постоял воз-

ле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты — к саду Гордона, куда даже не зашел, — только посмотрел в ворота на монумент и на аллею, — а от сада Гордона — куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу цептов. В самый истопный час послеполуденного тепла и света, когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину, не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий, — и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черешниных и тростниковых крыши, храмов, мечетей и капниц, праздных матросов из Европы и буддийских монахов — бритых, худых, с безумными глазами, в капареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опахалами из листвы священной пальмы. Рикша и его седок песлись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то, — вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в цирюльне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые веселые кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым глянцем от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте были полны, англичанин жил в про-

стом, за Невольничьим Островом, — и тут еще раз пробежал рикша мимо баннапа, под который сел он пылко утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные ограды и голландские крыши бунгалов, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалов, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен — это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадур, высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в пищенском тюрбане, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махпула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, — совсем как у той, страшной, которую он представил себе — медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота — уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покоропился к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было допытаться, что несет-

ся впереди встречный. Потом слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая лагуна, покраснели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, пабежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон снял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных песметной мошкаррой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босопогие полные слуги, похожие на пятек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и махалась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их холодные, мокрые лбы. Рикша помер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздавшего гостя радостным ропотом. Гость выскочил из колясочки и, вбежал на балкон. А рикша полесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно ему ударили в лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, — в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, — на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обмепяться шариками из риса! Его, впризу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее — и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуты, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся верхинка которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты.

А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать — на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей.

— Проспись, проспись! — кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков. — Страхни с себя оболения Мары, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пропавшему стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы — от любви, от привязанностей сердца — убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдемская земля, приют первых людей, познавших желание, по оп, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и рабского самой острой стрелой — жаждой любви и новых зачатий для этого древнего мира, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадур, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе с своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми деревянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнув в глубине под ним дверку, за которой падался паить немом старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая:

то, что в ней лежало, билось, плавилось, стучало в крышку тутими кольцами и шурило.

Зачем он захватил с собой колясочку? А он так захватил ее — и ровным, сильным махом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки Форта, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная выпка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный, сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до побережья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил топкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. И она была, — помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом, — она была, при всей своей малости, необыкновенно сильна и злобна, а теперь, после того, как ее помогали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шурило и стучала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека пещказальной болью, такой, что после него даже обезьяны раздражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная яма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огонь города.

Шум океана хлынул ему в голову — и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжело, с кровью стошнило — и опять повергло в небытие. Их, этих обмороков, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть — и то последнее, все-

объемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц, две пары гребцов гнали в гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши помер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены парового борта, взбежал он по длинному трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал, — это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычайно прошу вас!» — возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не выдающие и беспокойные. «Подождите до послезавтра, — сказал капитан, — послезавтра будет немецкий почтовый пароход». — «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно, — ответил англичанин. — Этот климат измучивает меня, я болею. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем, что чувствует всякий первый человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту топкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложил англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрасной. На скорую руку разложивши в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро топуло в темноте. Пароход уже сваялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к приземному берегу, к складам угля и к черной гуще топкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и по-

чали туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, топиотворно-благовошный, мягкий ветер. Внезапно молчаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижины под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянувшись на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свивцовую даль океана за молом — и быстро пошел назад, в каюту.

Старик лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за ее занавеску. Англичанин сидел в складном хоящовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в пей золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо, и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело песущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы обтершись губкой, ласыщенпой водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щетками свои черные волосы па косою ряд, падел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и браваивно его за опоздание, встретили его преувеличенно любезно, друг пред другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень правится русский стол, что он был в России, и Сибири... что он вообще много путешествовал и всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, па Яве и па Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до страпностей — вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно явившись па пароход... За кофе он угощал моряков копыаком и ликерами, припес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о ко-

лонпальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Дально потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Коломбо. Теперь пароход был в безграпичной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мостиком. И тьма резко чернела в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы — влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного — и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал — двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и бескаланно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной черпотой заливало горизонты — и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы камепел на минуту.

— В сущности, это страшно! — сказал он своим мертвым, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери, зиявшей темнотой. — Очень страшно, — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. — И страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не можем, разучились чувствовать, как это страшно.

— Что именно? — спросил капитан.

— А вот хотя бы то, — ответил англичанин, — что под ламп и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия... О, — строго сказал он, вглядываясь в темноту, — и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко — быть капитаном? — серьезно спросил он.

— Нет, почему же, — ответил капитан с притворпой лебрежностью. — Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

— Скажите лучше — от нашей тупости, — сказал англичанин. — Стоять вот там, на нашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда-то в темноту ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг, — это безумие! Но, впрочем, не лучше, — прибавил он, опять заглядывая в двери, — не лучше и лежать внизу, в каюте, за топчайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он вырождается, вырождается!

— Однако кроты не плавают по всему земному шару, — усмехаясь, ответил капитан. — Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроволочным телеграфом... Вот хотите — я буду сейчас говорить с Адепом? А ведь до него десять дней ходу.

— И это страшно, — сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика. — Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему: ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти — ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями — и вот не только не страдаю, но схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда.

— А звери, дикари — думают? — спросил капитан.

— Дикари верят, что так надо, а мы нет, — сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимается, потом валит на бок, расступается — и пол все глубже уходит из-под ног. Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевоту и поглядывая на своего страшного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали братья за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином

глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражал своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика лакея, убиравшего со стола.

— Да, да, — сказал он, — нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх! Бога, религии в Европе давно уже нет, мы, при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни, и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту боязнь, увеличить ее — и все же не восприимчивы, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же называл страшным, — сказал он, показывая на открытую дверь, за которой шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с пола и валившая скрипящий переборками пароход то на один, то на другой бок.

— Это на вас Цейлон так подействовал, — заметил капитан.

— О, несомненно, несомненно! — согласился англичанин. — Мы все, — коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, — мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силится восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то пиццетой Италии, ее картинками и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с притворным восторгом на желтые груды Акрополя, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных каплицах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию — и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог бы поклониться разве только им, этим страшным богам нашей прародины, — сторукому Бrame, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось неистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря Восто-

ку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей, в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии покупал девочек в месячные жепы, в Китае бил палкой по головам беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Апарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу болезнь печени, — только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески-непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая и бытие, и смерть, и божественное величие вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колоннальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира, Сидона, нового Рима, английского или немецкого, повторится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возмнившему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму — Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, — Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой вселенной, которой мы не постигаем, — и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность превыше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о грядущем всемирном братстве и равенстве, — и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячем мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Все-Единном, — только там понимаем в слабой мере, что значит эта паша Личность... Знаете ли вы, — сказал он, останавливаясь и блестя очками на капитана, — буддийскую легенду?

— Какую? — спросил капитан, уже тайком зевнувший и посмотревший на часы.

— А вот какую: ворон кинулся за слоном, бежавшим

с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны — и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и выплынул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, — и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

— Да, это ужасно, — сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо доносились отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще минут пять, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подошел к степе, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышим, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реп. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, подымаясь и опускаясь, — и в пространствах широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Капопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

Капри. 1914



ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознагра-

лнить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жепу с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, по ведь все пожилые америкашки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут ипой раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он радеется наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тараптеллои, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно топка,— любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гопкам, другие рулетке, третьи тому, что приято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газопом, на фоне моря цвета пезабудок, и тотчас же стуканется белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere¹; входил в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и куанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония,— разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был копец поября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; поплыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами,— с почным баром, с восточными бапами, с собственной газетой,— и жпзнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волнованнейшей в тумане; накинув фланелевые пижамы, пи-

¹ «Смилуйся» (лат.) — католическая молитва.

ли кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одинадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шешфаль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одинадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камытиными креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенные бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в этот час их, освеженных и повеселевших, доносили крепкими душистыми чаем с печеньями; в семь поворачивали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойных и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, по о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке помпунто взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, по немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что прилинал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, пеладно скроенный, но крепко спитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокала-

ми и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гнацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбам блестящими его крупные зубы, старой слововой костью — крепкая лысая голова. Богато, по по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщичками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав погои, до малиновой красноты лиц пакуривались гавайскими сигарами и папивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, выюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стонала удушасемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным педром пренсподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по поясу голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали погои на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в тапго — и музыка пастойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы пекий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья; он танцевал только с ней, и все выхо-

дипло у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара напята Ллойдом играть и любви за хорошие деньги и уже давно плавают то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбуждавший к себе общий интерес, — последний принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек малеский, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонта... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже видел был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие люди и дискантльмены уже падали легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бон-китайцы, кривоногие подростки со смольными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, песессерья.. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и страшен, — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно копские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятного восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, по как будто особенно опрятная одежда таила в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного

сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнущую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его супруки в гостиницы. Так было всюду, так было в плаваньи, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кипулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away! ¹ Via! ²

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, обильное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вплоть с высоко висящего балкона на Везувий, до подожжя окутанный сияющими утробными парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и топкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным, узким и сырým коридорам улиц, среди высоких, много-

¹ Прочь! (англ.)

² Прочь! (итал.)

гомокопных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровпо, приятно, по скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огопыки семисвечника, краснеющие в глубине на престолах, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под погами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сап-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в парадном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминных; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова сервентцы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открыты чертоги столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере публичные ливни и бури, в Афинах снег, Эгда тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо турпсты, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня пензенно серело и падал сеять дождь, да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-навозчиков в резных, крыльях развесающихся по ветру накидках — пестерно волюющими, энергичное хлопанье их бичей пад тонкошени

клячами явно фальшивым, обувь сипьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а жеищпы, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами,— безобразно коротконогими; про сырость же и вопь гнилой рыбой от пеицщегося у набережной моря и говорить печего. Господил и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те пежные, сложные чувства, что пробудила в пей встреча с прекрасным человеком, в котором текла пеобычная кровь, ибо веь, в конце концов, и пе важно, что именно пробуждает девиую душу,— деьги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем пе то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и правы честнее, и випо патуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруцеских воыпщников, целый месяц бродящих перед Рождеством ло острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В деь отъезда,— очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра пе было солища. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свнцовой зыбью моря. Острова Капри совсем пе было видно — точно его никогда и пе существовало на свете. И малеький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурпоты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее песколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к пей с тазком,— уже многие годы изо дня в деь качавшаяся на этих волнах и в зпой и в стужу и все-таки пеутомимая,— только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, пе разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он шил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми

картинами» в некоторых приютах. А дождь шел вдребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воюм ломил в матчы н порою, вместе с палатавшей волной, клал парохлик совсем пабок, н тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Каstellамаре, в Сорренто, было немного легче; но н тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пипиями, розовыми н белыми отелями, н дымящими, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз н вверх, как на качелях; в степы стукались лодки, сырой ветер дул в двери, н, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как н подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской н злобой думал обо всех этих жадных, вопяющих чеспоком людшках, пазываемых птальянцами; раз во время остановки, открыв глаза н приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, пасквозь проплесневевших каменных домиков, палеппенных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок н коричневых сетей, что, вспомнив, что это н есть подлиппая Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал наппгаться своей чернотой остров, точно пасквозь просверлеппый у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовоппей, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел н шлеппулся в воду якорь, наперебой поспелись отовсюду яростные крики лодочников — н сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнаппать ступила на камни пабережной, а затем села в светлый вагончик н с жужжаппем потянулась вверх по откосу, среди кольев на випоградинках, полуразвалившихся каменных оград н мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными павесами апельсиппных деревьев, с блеском ораппцевых плодов н толстой глянцепптой листвы скользппвших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дожда, н свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темел в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке Фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно приять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, перьяшлых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротничками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юпошей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на тра-ты. Господин из Сан-Франциско, спокойно остановившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что посят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площадке, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные пожные скамеечки, по-птичьему засинстала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяином отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что пылче почью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точно-точно такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так пазываемых мистических чувств, то сейчас же

и померкло его удивление: путя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с топкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдомель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лагуст, ростбиф, спаржа, фазапы и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дряплой итальянский пароходик, — по он не снеса, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдомеля окно, из которого пахло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с петоропливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столык для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдомель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»¹, прибавил, что сегодня у них в вестибюле тараптелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

¹ Да (англ.).

— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к вещу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отраженным светом и блеском, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— На sonato, signore? ¹

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in... ²

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смутно-желтого черепа, потянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, припел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоспешную, с выпятившейся грудью ру-

¹ Вы звонили, сеньор? (итал.)

² Да, входите... (англ.)

башку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожуцу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с спящими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь попятить, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с папгазовыми глазами, похожая на мулатку, в цветистом паряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, женщиной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, усталым красным коврам, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-курдючному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую мантилу и кивнул на столик три пары; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из



ДАЛЕКОЕ

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною па Арбате, в гостинице «Северный Полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил па свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем патпрают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловеший (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иванович не испытывал ни малейшей доли тех тяжелых чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к «Северному Полюсу». Он шел по ко-

ридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший пинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, малящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда напряженная, парумяненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом морсе с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вытупленными глазами... Иван Иванович вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь — и уединялся за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому не ведома — даже горничной и коридорному, парушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и грязного умывальника, из которого струя воды была всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иванович. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками по головам, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался пад всеми шумами и звуками басистый зов с шатровой, древней колокольни: Иван Иванович как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал откуда-то, взял номер в «Северном Полюсе» и стал ближайшим соседом Иван Иваныча какой-то князь. И произошло с Иваном Ивановичем нечто совершенно неожиданное, негаданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, — была же старейшая сожительница Ивана Иваныча, ма-

ленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, по богатством и не внешностью,— князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, пескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжелой одышкой. И все-таки был Иван Иванович поражен и пленен, а главное, совсем выбит из своей долголетней колен. Он превратил свое существование в какое-то непрерывное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить, с кем-то видется, о чем-то хлопотать,— совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Северном Полюсе», которых перебывало на памяти Иван Ивановича великое множество и навязываться на знакомство с которыми Ивану Ивановичу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала у Ивана Ивановича гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высовывался из своего померка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

— А, а вы еще не спите?

И Иван Иванович, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал:

— Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

— Да,— говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину,— встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо,

обрывал князь свою почную беседу с Иван Ивановичем, по с Иван Ивановича и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немпожко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невпийнейшего вранья коридорному утрум:

— А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал шпрочайшие серебряные папталоны. Стал и Иван Иванович выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двунадесятые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую паппросу, кричал, отворив дверь в коридоре, на весь дом: «Коридорный! Чаю!» — и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иванович делать то же, — кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал к себе за пуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал почью князю, какое он получил огромное наслаждение...

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

Каждая весна есть как бы копец чего-то пзжптого и пачало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен — для меня по моей молодости и потому, что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувство-

вала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзинок было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Морплиза! Сколько пароду стряглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новым запахом, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончало какую-то полосу своей прежней, не той, какой пужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по померам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, поехали, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали пзвозчики пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, люд-

пой улпцей баспстый звоп с шатровой колоколып... Депп за днем жпл весеппый город своей огропной, разпобразной жпзпью, п я был одпим пз самых счастлпвых участпков ее, жпл всемп ее запахамп, звукамп, всей ее суетой, встречамп, деламп, покупкамп, брал пзвозчпков, входпл с прпятелямп в кафе Трамбле, заказывал в «Праге» ботвпню, закусывал рюмку холодной подкп свежпм огурчпком... А Ивап Иваныч? А Ивап Иваныч тоже куда-то ходпл, тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайпо маленькое, прпобретая за это право па дальпейшее существование среди нас, то есть на обед за трыдцать копеек в кухмистерской напроптив «Северного Полюса» п на номер в «Северпом Полюсе». Он только это скромное право зарабатывал себе где-то п чем-то п, казалось, был совершенно чужд всем лппшм надеждам па какую-то повую жпзпнь, па новый костюм, новую шляпу, новую стрпжку, па то, чтобы с кем-то в чем-то сравпяться, завести знакомство, дружбу... Но вот прпехал князь.

Чем мог он очаровать, поразпть Ивапа Иваныча? Но ведь не важее предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остаткамп шпрых замашек, человеком глубоко прожпвппмся, по, значит, п пожппвшим в свое время как следует. Ну вот п возмечтал бедный Ивап Иваныч зажпть п себе по-повому, по-весепнему, с некоторымп замашкамп п даже развлеченпямп. Что ж, разве это плохо — не завалпваться спать в десять часов, вывешпвать для чпстки штаны, ходить за пуждой до умыванпя? Разве это не молодпт — зайтп пострпться, подравнпть, укороптть бороду, купптть молодящую серепькую шляпу п воротптться домой с какой-пнбудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-пнбудь пустяков, красиво перевязанных рукамп хорошепькой прпказчпцы? И Ивап Иваныч, постепенно п все больше входп в искушение, все это по-своему п проделал, то есть исполппл в меру своих сил п возможностей почти все, что исполпплп п прочне: п знакомство завел, п обезьяпппчать стал, — право, не больше других! — п весеппых надежд пабрался, п некоторую долю весепнего беспустства впес в свою жпзпнь, п к замашкам прпбпцплся, п бороду подстрпг, п с какпмп-то сверточкамп в руках стал возвращаться в «Северный Полюс» в предвечерппй час, п даже больше того: куппл п себе серепькую шляпу п нечто до-

рожное, — чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, — возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Ивановича к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, печально, по, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иванович и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше, как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, — никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, — князь, Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, — плохонького, за шесть гривен, — а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, — и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и раздвинулись мы с князем в совершенно разные стороны, рассовав во все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, — князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, — ах, как хороши они были, боже мой! — потом по пахучей от всякой москательи Ильянке,

где уже была вечерняя темень, потом по Покровке, уже осенней звонкой и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день,— ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а постепенно тонул в радости существования, как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, забыв и «Северный Полюс», и князя, и Иван Иваныча, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет печный день, когда буду я тщетно взывать и к ним:

— Милый князь, милый Иван Иваныч, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глухие надежды и радости, наша далекая московская весна?

Амбуаз. 1922



ЛАПТИ

Пятый день пелло непроглядной выюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, — от страха, и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть...

Стукнуло в прихожей, — Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и выюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:

— Ну что, барыня, как? Не полегчало?

— Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит...

— Лапти? Что за лапти такие?

— А господь его знает. Бредит, весь огнем горит...

Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки — все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо:

— Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.

— Как добывать?

— В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином не хитрое дело.

— Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!

Еще подумал.

— Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...

И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бесцельно несущемся степном море.

Победали, стало смеркаться, смерклося — Нефедя по было. Решили, что, значит, почевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в безднe снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени и била себя в грудь:

— Господи, помоги! Господи, защити!

А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, злобный стук в окно.

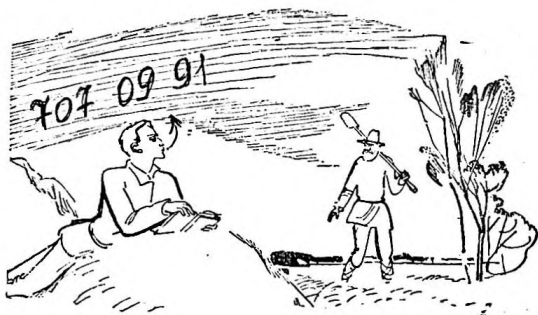
Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, — белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефедя. Мужики ехали из города,

сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадыо в страшный снег и со- всем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увида- ли торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кипулись разгребать снег, подняли тело — оказывается, знакомый человек...

Тем только и спаслись — поняли, что, значит, эти луга хutorские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье...

За пазухой Нефеда лежали повесельные ребячьи лапти п пузырек с фуксинном.

22 июня 1924



К Н И Г А

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так по дню в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печальми, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлпом Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печорным и Наташей Ростовою! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом,

остро вижу, слышу, обоняю,— главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шла изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где,— особенно к югу,— еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, свиневатые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черпозом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте,— для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что подарком, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!



ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной пазе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темнотлицкий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в яко-лаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами: подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, вбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу палево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту жепщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?



— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пылливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя паложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой шаг, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не посят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел пегодой, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкно-

вешная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебна прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колен, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Да, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Денег в рост даст.

— Это ничего не значит.

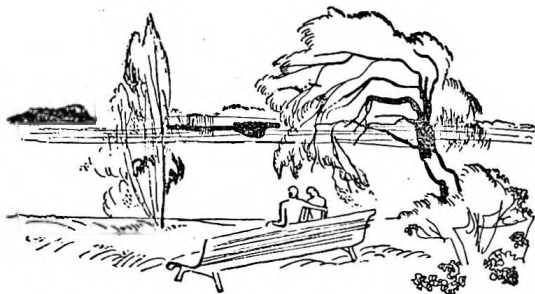
— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоянной горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качая головой.



ПОЗДНИЙ ЧАС

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шло и проходило годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древенный, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной песокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месец был слева от меня, довольно дале-

ко пад рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовест мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное — русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сказала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от парада в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросилось к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым рупом клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбегавшего простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шел, холстинкового платья — и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.

В городе по было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немое и просторное, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящего степного города. Один сад чуть слышно осторожно трепетали листвою от ровного тока слабого пюльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел — большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черпоте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени — только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому

тротуару, — он сквозисто устал был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень парадное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе — все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний — и не мог: да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в повязком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ли одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти серединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидеть его. Как-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат — все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приязнелстве, начинал жизнь, давно ли пачинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал

думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий заггар юного лица, легкое летнее платье, под которым щепорчность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых почках русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по почтовому веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело плетень, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую.

Но и двор и звезду я видел только мельком — одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней,

я стапу там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно прижаться себе, по исполнению которой, я знал, было пемину-емо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара — по Монастырской — к выезду из города.

Базар как бы другой город в городе. Очепь пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над серединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бегут, жепственно, щепотко вляясь, покачываясь, одпообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистят крыльями, только тогда, когда чуть не пастьпишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкии и страшные.

Монастырская улица — пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим — в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумпой бутафорной подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столлика лист бумаги в траурной кайме — на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахинном, колесница, дерево которой черпо-смолисто, как чумпой гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черпыми султанами — перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых полопах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах



спит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутфорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis*¹. — Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и песит навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, пад закрытыми выпуклыми веками. Так песни и ее.

На выезде, слова от шоссе, монастырь времен царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я смело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немощно! Месяц стоял за деревьями уже низко, по все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу — светлые и темные пятна, всё пестрившие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня — я, вне себя, шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, несся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту — и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлинённый и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, по немая, неподвижная.

¹ Дай им вечный покой, господи, и да светит им вечный свет (лат.).



ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

В июле того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июля убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба паша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно раппя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно заливала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь, пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспоминал стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж черпеющих сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход лупы, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и ка-

пот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской пакидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что заливала вечером, — в нем был золотой образок, который послали на войну ее отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместимость между нами и окружающим нас радостным, солнечным, сверкающим наморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет.

И многое, многое пережито было за эти годы, кажушиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молотом, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринбург. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, оп в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с песчаной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молодильная жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлен, холеными ручками с серебряными поготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шпурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав ко-

гда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное непужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

3 мая 1944



В О Р О П

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидал однажды в «Иллюстрациях» картину, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинку в «Полных путешествиях» Богданова, — так похож показался мне Наполеон на пингвина, — а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губерпском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокое в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черповолосый, темный длинным бритым лицом, большепосый, был он и впрямь совершенный вороп — особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губерпаторши, сутуло и крешко стоял возле какого-нибудь кювета в виде русской избушки, поводя своей большой воропьею головой, косясь блестящими

воронными глазами на тапцующих, на подходящих к кассе, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из кассы плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в перчатках, — рослую даму в парче и кокошнике, с посохом пастелью розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое, — я да маленькая сестра моя Лилия, — и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходивших фасадами на бульвар в топотах между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на Святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Вспой той года я копчил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, — всю ее озарило присутствием той юной, легконогой, что только что смешила пятерку восьмилетней Лилии, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тутчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за папиными чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черпоглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваемо стал: не кидал тяжелых взглядов на старика Гурья, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, — медленно, поговорил, — обращаясь, конечно, только к ней, церемонно пазывая ее по имени-отчеству, — «любезная Елена Николаевна», — даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела топким и позным лицом — лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для

нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следовать за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх, — радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она — Лилия в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, пилила мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил — нечто очень страшное:

— Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего липовского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты, — говорил он, усмехаясь. — Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, — значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч, — простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше, — вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

— Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет в некий срок папешка и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, по-

тому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, — например, имепьще в тысячу десятин черпозему в Самарской губернии, — только навряд оно сылку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, пасколько понимаю, выйдет из него мот первой степенн...

Был этот последний разговор вечером под Петров день, — очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора — на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под копец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневыи кисель, стала пропзительно кричать па Гурния, стуча кулачками по столу, сошвырнула па пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотацили ее в ее комнату, — она брыкалась, кусала пам руки, — умолили ее успокоиться, паобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для пас даже в одном этом — в совместных усилиях тапчить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

— Это па нее так гроза подействовала, — радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг пасторожилась: — О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно — мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом пелась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, — гроза уже прошла, точно он потушил ее, — в грохоте длинных песущихся дрог с медными касками стоящих па них пожарных, со шлагамн и лестницами, в звоне поддужных колокольцов пад гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски-игриво, предостерегающе пел рожок горписта... Потом часто, часто забил набат па колокольные Ивана Воина па Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком па них, сердце у меня забилося сильнее, лоб стянуло — я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра

руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в пекном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, — этих коротких встреч и отчаянно-долгих, непосытных и уже вестерпимых в своей перазрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В пачале июля Лилия заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, припильенных к доске, какие-то сказочные города, а она поповоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, — отойти было нельзя: Лилия поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от перестанного, мучительного желанья видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и сился читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

— Что, заснула?

Она махнула рукой.

— Ах, нет! Ты не знаешь — она может по двое суток не спать, и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и орашжевые карандаши...

И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову:

— Боже мой, когда ж это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, — мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое по-

капливание. Я взглянул через ее плечо — отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне поступался Гурий: «Папаша просит вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

— Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

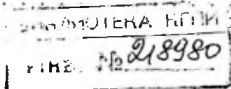
В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург — «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидел и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бипокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно оспаривалась кругом — на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющий партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложу. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род перламута из пупцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

18 мая 1944

Такая
малое количество
книжки
Франк. Браслет.
судящий.

СОДЕРЖАНИЕ

В. П. Кулешов. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН	3
✓АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ	21
✓ДЕРЕВНЯ	36
СУХОДОЛ	157
БРАТЯ : : :	211
✓ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНСИСКО	234
СООТЕЧЕСТВЕННИК	255
СТАРУХА	263
ДАЛЕКОЕ	267
ЛАПТИ : : :	275
КНИГА : : :	278
✓ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ	280
ПОЗДНИЙ ЧАС	286
ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ	293
ВОРОН	298



ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Иван Алексеевич Бунин

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Ответственный редактор Н. В. Белякова. Художественный редактор
Б. А. Дехтерев. Технический редактор Н. Ю. Крапоткина. Коррек-
торы Н. А. Сафронова и З. С. Ульянова. Сдано в набор 5/II
1975 г. Подписано к печати 8/VIII 1975 г. Формат 84x108¹/₂. Бум. ти-
погр. № 1. Печ. л. 9,5. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 16,1+1 вкл. -16,11.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 190. Цена 72 коп. Ордена Трудового Красного
Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр. М. Черкас-
ский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская кни-
г» № 1. Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Мини-
стров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Суворовский вал, 49.

cl